

ЮРИЙ ДРУЖКОВ

КТО ПО ТЕБЕ ПЛАЧЕТ

РОМАН



Аллея

Юрий Дружков

Кто по тебе плачет

Издательство "Руда"

2007

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Дружков Ю.

Кто по тебе плачет / Ю. Дружков — Издательство "РуДа",
2007 — (Аллея)

ISBN 978-5-9073551-6-3

«Кто по тебе плачет» — первый и единственный роман для взрослой аудитории известного детского писателя Юрия Дружкова, автора книг о приключениях Карандаша и Самоделкина. Действие романа происходит в начале 80-х годов прошлого века. Самолёт, на котором летит главный герой, терпит крушение в глухой сибирской тайге. Спасается только он и молодая женщина. Пытаясь выйти к людям, они наконец добираются до островка цивилизации — базы, которая оказалась заброшенной. Вот-вот должны прийти люди, но их всё нет, и связи с миром тоже. Страшная догадка осеняет героев: неужели случилась ядерная катастрофа, человечество погибло, и они — единственные выжившие на Земле? Пронзительная история о катастрофе и одиночестве, о надежде на чудо и тепле родительской любви, которая дает стимул жить.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-9073551-6-3

© Дружков Ю., 2007
© Издательство "РуДа", 2007

Содержание

Тетрадь первая	5
Тетрадь вторая	27
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Юрий Дружков

Кто по тебе плачет

Тетрадь первая

Объявили посадку на триста восьмой...

Вылет задерживали с половины дня. Как всегда в этих случаях бывает, в огромном зале аэропорта мы невольно приметили друг друга по случайным словам, похожему поведению, другим пустяковым, но выразительным приметам. Дорожные горемыки легко угадывают в гаме вокзала себе подобных, и постепенно собирается в условленном месте группа незнакомых людей, у которых общее – билеты на «триста восьмой», «девятый», «десятый»...

Корю себя за то, что был рассеян тогда и невнимателен к ним. Но разве можно всё предвидеть? В памяти будничная суeta. Память... Хочу остановить каждого из них, крикнуть: подождите, послушайте меня, дайте мне по-другому посмотреть на вас... И я ничего не могу изменить...

Молодая мама с ребёнком. Небритый монгол, или киргиз, или калмык. Старушка с мягким платком на плечах, вся такая ласковая, добрая, улыбчивая с виду, что иначе как бабушкой не хотелось её называть. Непонятный человек в серой шляпе. Из тех, о которых можно подумывать что угодно и ничего не угадать. Помню, как удивила меня его локаторная способность, не глядя, чувствовать мелькнувшую на расстоянии любую заметную женщину. Он обязательно провожал её глазами, чтобы затем вновь уткнуться в газеты, с которыми не расставался ни на минуту.

Несколько молодых людей, похожих неуловимо, как бывают похожи те, кто вырос в небольшой деревне или служил в одной части. Они играли в карты на подоконнике, не обращая внимания, что рядом какой-то возбуждённый до предела высокий гражданин всё время заглядывает в рукав и стучит носком ботинка о пол.

Юные студентки, двое военных, японец, увешанный аппаратами, один железнодорожник – мы все околачивались в районе буфета в ожидании, пока, наконец, невозмутимые динамики нас не позовут.

Молодая привлекательная женщина в синих джинсах терпеливо стояла в очереди к буфету. Вроде не красавица, как мог бы сказать о ней мой хороший приятель, а глаз не отвёдешь... Вокруг не было ни одного свободного места. Я заметил её сразу и подумал: буду сидеть, пока не подойдёт её очередь, а потом встану и... Самое забавное, мне почему-то казалось, она понимает – её ждут. Очередь подошла, я встал, даже кивнул вежливо и слегка. Она улыбнулась мне, будто в самом деле сказала: вы ждали меня, спасибо.

«Эта в другом самолёте, – подумал я. – В Санкт-Петербург, Киев или Ригу»...

Она летела вместе с нами...

Объявили посадку на «триста восьмой».

Небритый монгол, мягкая бабушка, возбуждённый до предела высокий гражданин, молодые люди, среди которых в последнюю минуту появился новенький в зелёной ковбойке, мама с ребёнком, юные студентки, непонятный человек с газетами, военные, железнодорожник, японец, увешанный аппаратами, женщина, вроде бы не красавица, – мы вошли в самолёт, не зная в то мгновение, что каждый мог и не войти в него.

Мы вошли в самолёт. В нём душно и тесновато, уютно и не очень удобно для тех, кто не любит нудного и долгого лежания в кресле, тем более, томительного ожидания, когда трап никак не отъезжает, и никто не приглашает застегнуть ремни, хотя дверь уже закрыта.

Возбуждённый до предела высокий гражданин застучал носком ботинка о пол. Через каждые пять минут он заглядывал в кожаный рукав. Молодые люди, с новым энергичным своим товарищем, начали спокойно играть в карты на чёрном «дипломате». Около меня сидел погружённый в газету непонятный человек, а рядом с ним, у бежевой гладкой стены – японец. Увешанный футлярами, он что-то снимал в иллюминатор маленькой журчащей кинокамерой.

По салону прошёл в хвостовую часть пилот, на ходу ответил кому-то: «Не волнуйтесь, летим, скоро летим». Но мы стояли, а трап не двигался.

– А я всё думал, когда начнутся эти штучки. Они, пожалуйста, начинаются, – удивил меня своим неожиданным басом непонятный человек отрываясь от газеты.

– Какие штучки? – ответил я, поскольку слова были сказаны явно для меня.

– Вы не читали газет?

– Не успел.

– Такое творится, вы не читали!.. Эти восточные хулиганы соседей бьют. Война самая настоящая. Танки, ракеты, сорок дивизий... Наши, думаете, смотреть будут, как друзей колотят?.. А там и Хабаровск недалеко. Вот и поспею к началу... Хорошенькому началу.

– Не дай бог, – повернулась в нашу сторону бабушка. Улыбки на её лице не было.

– А что, вполне, – заметил железнодорожник. – Если наши начнут, не наши этим воспользуются. Пульнут под шумок, будто совсем не они, мы в ответ, и пошло-поехало...

– Ещё как, – добавил непонятный сосед.

– Стоит ли без толку паниковать? – не отрываясь от карт, негромко попросил энергичный парень в ковбойке.

Возбуждённый до предела высокий гражданин сказал вдруг непонятно кому:

– А ну их к чёртовой матери!

Снял сверху свой кожаный чемоданчик и побежал к дверям пилотской кабины, застучал в неё резко и требовательно. Вышла стюардесса.

– Откройте мне.

– Пожалуйста, не волнуйтесь, мы скоро летим.

– А я не хочу с вами лететь! Откройте немедленно.

– А не пожалеете? – улыбнулась девушка.

– Не пожалею, открывайте...

Он прыгнул в распахнутую для него дверь, единственный.

– Какой грубиян. – Это бабушка досадливо махнула рукой.

Мы пристегнули ремни. Трап укатил от лайнера. Молоденькая стюардесса назвала себя, фамилию пилота, город, куда мы летели, пожелала доброго пути...

Мне кажется, я помню всех, кто был в нашем длинном, очень длинном салоне, мягком и сером от сумрачного света иллюминаторов, с белыми чехлами на креслах, с приглушёнными разговорами и шелестом газет. А ведь я летал не один раз и никого никогда не запоминал, а вернее просто не замечал.

В этом салоне я помню всех. Помню плечи, затылки вдали от меня, помню даже сумки, чемоданы в клетках над головами. Память моя помимо воли хочет населить наш полёт необычным, не таким сухим и будничным, как всё это было на самом деле. Словами значительными, движениями значительными. Я не могу этого сделать, не могу ничего придумать, но я помню их особую неповторимость. Я помню всех.

Стюардесса. У неё девичьи плавные руки, отменная походка, движения, стать, привлекающие к себе локаторные взгляды моего соседа по креслу... А впрочем, он обо мне, вероятно, то же самое думает.

– А? Какие ходят? – негромко заявил о себе, а вернее начал искать контакта со мной для долгой утомительной дороги мой сосед. И я почувствовал слабый коньячный дух.

– Летают, – сказал я не очень дружелюбно.

– И летают! – непонятно чему обрадовался он. – Да, и летают...

Она успокаивала небритого человека, с виду похожего на монгола, но потом оказалось, урождённого северянина, который оглядел салон, обошёл его сначала из конца в конец, а теперь не спешил пристёгивать ремни.

– Дочка, – сказал он, произнося вместо «ч» «с», – как же так? Где моя машина?

Слово «машине» едва можно было угадать. Он говорил «ш» как «с».

– Смотрю, нигде машины. Где машина?

– Пожалуйста, не волнуйтесь, я вам объяснила, машина летит с нами. Сядем – получите вашу машину, – улыбалась стюардесса.

– Я не вижу. – Он ещё раз оглядел багажные полки. – Нет машины. Деньги платил, большие платил.

– В багажнике твой автомобиль, – пошутил кто-то невидимый. – В багажнике. Мог бы сам на нём ехать к тундре своей.

– У меня стирка машина, бельё стирать, – обиделся неугомонный. – В детский сад бельё стирать.

Мой сосед неожиданно булькнул и посмотрел на меня так, словно я понимаю, как ему весело.

– Эти наивные самоеды... На трапе он приставал к девчонке: где машина, покажи машина.

– Бывает, ну и что?

– Всё бывает... У нас вот анекдот рассказывают... Один чукча купил машину для печатанья денег. За десять тысяч. Повернёшь ручку – десятка, повернёшь – другая. Накрутил себе тысячу, а машина вдруг отказала. Чистая бумага пошла. Он и так, и этак – ничего. Развинтил машину, а там один бумажный рулон. Машина была стиральная. Жулики приспособили...

В самом деле смешно.

Салон, озвученный мягким ровным гулом, показалось мне, словно потянулся от напряжения всеми своими переборками, обшивками, рёбрами, задрожал от натуги, вдавливая в кресла наши тела. И вдруг обмяк, завис облегчённо в упругой невесомости.

Ну что же, наконец, летим...

– Привыкнуть не могу. Летаю миллион раз и всегда жутковато, – заметил мой разговорчивый сосед. Как ни крути – высота. Никто не гонит, а время – деньги... Хорошо гудит, уверенно гудит. – Он кивнул, в сторону окна, туда, где солидно и надёжно белело на солнце неколюбимое крыло. Будто гуденье шло от этой крепкой уверенной в себе неподвижности.

Духота сменилась летучей прохладой. Ожили, начали двигаться, притихшие было такие разные попугайчики.

– Только лететь бы нам в другую сторону, – сказал он, – а то в самое пекло угодим, к началу...

Маленький мальчик спрыгнул с кресла в проход салона и пошёл по упругому коврику, оглядывая всех нас весёлыми глазами.

«Он остановится около меня», – загадал почему-то я. Малыш в самом деле остановился рядом.

– Летим? – наклонился я к нему.

– А мне совсем не страшно, – сказал мальчик.

– И мне тоже не страшно.

– И маме не страшно, – сказал мальчик.

– Она у тебя храбрая?

– Нет, она добрая.

Молодая привлекательная женщина, вроде бы не красавица, повернулась к нам.

– И красивая, – подмигнул сосед. – Видишь, мама волнуется, беги к ней.

Мальчик оглянулся.

– Это не моя мама, – громко сказал он, и женщина улыбнулась ему.

– А я бы не стал отказываться, – откровенничал сосед. – Подумай сначала, такая мама всем подойдёт.

– Вы умеете надувать шарик? – спросил у меня мальчик.

– А ты не умеешь?

– Он очень крепкий.

Мальчик протянул мне сморщенный голубой мешочек.

– А шнурок у тебя есть?

– У меня есть нитка от катушки.

Он показал мне спутанную белую нитку.

– Настоящий мастер никогда не станет надувать шарик с ниткой, – поглядел на мальчика парень, игравший в карты чуть позади нас, видно, главный в своей компании.

– Вот видишь, я мастер, а шнурка у нас, кажется, нет, – сказал я.

– Передай мастерам этот замечательный крепкий шнурок.

Парень вынул шнурок из ботинка, сброшенного на пол, и подал его приятелю, который тоже играл в карты.

– А сам как пойдёшь? – удивилась бабушка, уютно расположившаяся в самолётном кресле, как на домашнем диване.

– Гулянки мои кончились. Мне сапоги приготовлены...

Я надул шарик, перевязав его подаренным шнурком, и подал мальчику.

– А мама не могла, – похвалил меня мальчонка и подкинул шар.

Он скрипнул о потолок синим боком, полетел в сторону, там его шлёпнули снова к мальчику, но шар полетел не туда, куда надо. Началась небольшая, но довольно шумная сидячая кутерьма-погоня за голубым шариком.

– Иди к нам, – позвал мальчика парень, играющий в карты. – Я тебе дам апельсин. У меня их две сетки, один ящик и один в кармане. Вот.

– Как бы этот ящик тебе на голову не плюхнул. На бок завали, войдёт, – подала совет улыбчивая бабушка.

– Он мягкий, – ответил парень, – фрукты спружинят.

Мальчик потопал к нему, обняв руками свой шар.

– Иди, учись, бубны козыри, – съязвил сосед, – картинки тебе покажут.

– Не надо ему так, – попросил я. – Громко вы... Не надо... И женщины обидятся.

– А что я сказал обидного? – поднял брови сосед. – Вот её, – сосед кивнул в сторону молодой женщины, – громко назвал красивой. Ну и что? Вы заметили, как она улыбнулась?..

Почему тянет меня так подробно сказать о нём, о чукче с машиной, о стюардессе, о мальчике с голубым шаром, обо всех остальных, весёлых или хмурых, усталых или бодрых, пожилых или молодых? Каждое необязательное, пустяковое слово, движение, взгляд, поступок – всё это будет кому-нибудь на свете нужно. Кому?

– Таким словам ни одна баба не обидится... Хотя, между нами говоря, если б кто знал, как невыносимо скучно иметь при себе постоянно только лишь красивую женщину и больше ничего, – добавил непонятный человек с газетами.

В салон вошла стюардесса. На лёгкой тележке она везла кофейный дымок и всё, что к нему полагалось. Чуткие глаза моего соседа повернулись к ней. Стюардесса подошла к нашим креслам. Сосед взял у неё поднос, подчёркнуто элегантно, едва заметно склонив голову.

– Чья коробка с апельсинами? – заметила девушка. – Поправьте, пожалуйста, пока не упала кому-нибудь...

Парень встал и начал двигать коробку. На мой взгляд, она покоилась надёжно и крепко, но входила на две трети, выдаваясь над креслами оранжевым боком.

– Кто проиграет, – сядет на это место, – предупредил парень.

О чём я думал в те минуты? Кажется, ни о чём...

О снежно-серых облаках, протянувшихся бесконечно от края до края над лесами, дорогами, посёлками, над которыми, наверное, летели мы, не видя на такой огромной высоте ничего, кроме кажущейся тверди облаков.

Я никогда не летал в такую даль, поэтому сначала меня удивила непринуждённость, с какой мой сосед скинул с ног ботинки. Он вытянул ноги, опустив газету на колени, блаженно зевнул и закрыл глаза. Я посмотрел вокруг. Парень, игравший в карты, соединил свои полуботинки одним шнурком, привесил их к сиденью, а когда заметил, как я гляжу на его приготовления, подмигнул мне:

– Иначе убегут. Однажды я левый ботинок по всему салону искал.

– Непутёвые твои ботинки, – сказала ему бабушка, – в хозяина подкидного. Такие же непутёвые.

– Чем я вас обидел, мамаша? – улыбался парень.

– Сказали тебе, подвинь ящик, а ты упрямый.

– Да я за ними два часа в очереди стоял, больше видеть их не могу, не то что шевелить.

– Зачем тогда покупал?

– На семечки.

– На семечки? Апельсины? А, сажать в огороде надумал, шутник?

– Посею там, где одни медведи живут, в тайге.

– Непутёвый.

Бабушка сидела в мохнатых серых носках. Шлёпанцы она завернула в газету и положила их себе в кресло.

Японец лаковые свои ботинки не снял. Я поглядел осторожно, так, чтобы он этого не заметил. Потом я увидел её ноги, обутые в туфли ноги молодой женщины в синих джинсах. «Трое нас, обутых, на весь лайнер», – пришёл я к весьма глубокому наблюдению. Она, японец и я. Уже небольшая обособленная каста не разумеваемых.

Настала очень долгая тишина, если она возможна в замкнутом гудящем от внешнего могучего напряжения салоне. Стёкла иллюминаторов становились как бы чёрными зеркалами, темнея с каждой минутой, вбирая в себя отражения сонных людей, свет неярких плафонов над ними, создавая рядом такой же, летящий в пространстве, одинаковый с нами салон, и только блики на крыльях иногда выдавали, что это нереальный, зыбкий, невесомый, как тень, мираж. Ночь летела навстречу нам с востока, а мы торопились навстречу ей.

Вдруг на дорожке посреди салона я увидел маленький детский ботинок. Он притаился на ковре, смешно подняв сверху ремешок, похожий на хвостик, и смотрел на меня чёрным глазом-пуговкой, будто убежал от своего хозяина и теперь боялся, как бы его не поймали, подкрадывался ко мне, помахивая ремешком или хвостиком. Вибрация заставила его скользить по мягкому зелёному ворсу.

Я едва удержался, чтобы не сказать ему «кис-кис», таким живым и весёлым выглядел этот маленький рыжий ботинок, похожий, наверное, на своего хозяина. Я даже протянул руку, чтобы слегка погладить рыжий бочок, или хвостик, или просто прикоснуться к нему. И неловко, нелепо замер, забыв отвести руку. Молодая женщина, склонив голову, смотрела на меня и на этот озорной ботиночек и улыбалась мне, ему, нам. Все вокруг спали, а мы, почти напротив друг друга, улыбались неизвестно чему, а хвостик подрагивал и буквально спешил убежать от нас в тёмный угол, под мягкое кресло.

Она счастливо засмеялась, опустила перед ботиночком совсем у моих ног, взяла его в пригоршни, как настоящего котёнка, и отнесла туда, где спал на руках у матери маленький отважный мальчик. Я видел только его безмятежную макушку, смешной хохолок на ней, похожий на взъерошенный хвостик.

Мой сосед поднял голову, будто прислушиваясь к ровному гулу моторов.

– Гудит, – сказал он, потягиваясь, – хорошо гудит.

– Усыпляет.

– И пускай себе, лишь бы гудел, пока в небе. Никогда не забуду одну злую шутку... Да... сели ночью в Томске. Я на променады не вышел, а рядом один уснул. Открывает глаза, тишина, самолёт пустой, дверь открыта. В чём дело, спрашивает. А я брякнул, как ударил: падаем... Вспоминать совестно. Сердце прихватило у бедняги, хорошо, валидол был...

Он поник, укрытый газетой, как пледом, и снова надолго оставил меня в покое.

Высота. Почти безмерная высота. Как потаённо холодеет внутри каждого из нас от взгляда на черноту за окнами, алые блики на крыльях, тонкие стены, тонкий потолок и дрожащий пол под нами...

...Когда моему мальчику было три года, он попросил меня подняться вместе с ним на последний этаж дома, в котором живёт со дня своего рождения. Коренные первоэтажники, мы вошли в тесный лифт, как в настоящую космическую кабину, огляделись вокруг, не торопясь, нажали кнопку, стали подниматься выше, выше, выше. Я чувствовал, как замирает в моей руке ладошка мальчика, идёт от неё ко мне живое волнение, самый начальный восторг высоты.

Рано ему, подумал я. Чего доброго сам начнёт бегать к лифту и залезать на карнизы, перила. Я хотел найти какую-нибудь причину, остановить лифт, отложить путешествие, но малыш так потянул меня к себе, столько было в нём благодарной живой радости ко мне, виновнику восхождения, предводителю экспедиции, что я засмеялся и выпрямился, широко поставив ноги, как ставит их, наверное, кто-нибудь на палубе корабля.

Мы открыли дверь на общую лоджию, шагнули прямо к синему обрыву, мальчонка замер, не понимая, как стали вдруг игрушечными, далеко внизу, огромные троллейбусы, дымные самосвалы, бывшие совсем недавно такими сердитыми великанами. Над маленькой улице плыл по каналу-ручейку маленький теплоход, а за этим каналом белело, синело, сверкало солнечными блестками-окнами нескончаемое Тушино со всеми своими домами, деревьями, башнями, трубами. Ветер летел отовсюду: сбоку, сверху, снизу. Я поднял, взял его на руки, ошеломлённого мальчика, будто не доверяя шальному ветру, летучей высоте, а мальчик мой вдруг обхватил меня, единственного, кто был привычным и надёжным в этом улетающем неизвестно куда пространстве, и сказал такое, что на миг оледенило самое сердце во мне.

– Папочка, а ты не бросишь меня?

Я прижал его к себе, содрогаясь от нежности.

– Что ты, маленький мой? Что ты... что ты... что ты? – бормотал я.

Первое путешествие, первое открытие высоты, сияния. Открытие света и первое ощущение возможного или невозможного предательства. Мальчик мой...

...А самолёт между тем висел, казалось, неподвижно в плотном и чёрном. И только ровный гул передавал ощущение полёта. «Гудит, – вдруг сказал я сам себе словами соседа, – хорошо гудит...»

...И даже теперь, один на один с листом белой бумаги я чувствую, с какой неохотой, с какой тягостью берусь я написать о том, что было с нами потом, как откладываю от одной строчки к другой, сделавшее меня седым воспоминание...

Сначала в окнах одно мгновение был ослепляющий невыносимо яркий алый свет. Мы окунулись в него, и крошечный вселенский грохот ударил по всем жилкам и рёбрам нашей хрупкой машины, бросил её вбок или вниз, или обратно, или вперёд, или в разные стороны

мгновенно, я не мог понять, куда, не мог понять, кто закричал так страшно: все мы сразу или сам аппарат от металлической ломающей боли.

Но стихло так же быстро, как всё это случилось. Нигде не потрескались, не смялись, не разлетелись, не лопнули крошечном тонкие стены, пол и потолок. Стёкла чернели по-прежнему холодно и непроглядно. Испарина туманила их. И только следы от капель змеились, текли по ним, как чёрные стеклянные трещины.

Мой сосед, ударившись о переднее сидение, ошарашено трогал лицо. Плакал испуганный мальчик. Салон гудел встревоженными голосами.

– Каналы! Всё-таки шлёпнулись на мою голову ни много ни мало десять килограммов.

Это сказал парень, игравший в карты, поднимая коробку с апельсинами обратно в металлическую сетку. От его слов, от уверенного голоса, буднично обыкновенных движений одного человека стало почему-то спокойнее. Люди опускались в кресла, поправляя причёски, одежду, отыскивая ботинки.

– А я думаю, откуда гром такой, – съязвила бабушка сиплым, не своим голосом. – Бог тебя наказал.

– Что это? – белыми непослушными губами спросил мой сосед. – Я спал... ремни, дурак, отстегнул...

– Наверное, молния, грозовая туча, – сказал я. – Всё обошлось. Гудит, слышите?

– Верно, гудит...

В салон вошла стюардесса, очень спокойная с виду, но теперь мне кажется, у неё было тогда совсем другое неузнаваемое лицо.

– Пожалуйста, пристегните ремни.

– Для чего? – нервно выкрикнул кто-то.

– Чтобы я за вас не беспокоилась, – ответила девушка. – Сделайте мне приятное.

– А как же гром?

– На то и небо, чтобы гром.

Я заметил её руки. Они были сцеплены у самой груди на форменной курточке.

– Товарищи, нет ли среди вас медика? – тихо спрашивала девушка, приближаясь к нам. – Нужен врач.

– Это я, – поднялся большой полный человек.

– Пожалуйста, пройдите со мной, – попросила девушка и, не оглядываясь, ушла.

Ушла навсегда...

– Кому-то плохо, – пожалела в соседнем ряду бабушка. – Тряхнуло не дай бог...

Не сразу дошло до меня, что начал говорить в то мгновение молчаливый наш японец. Он встал, руки и губы у него дрожали, мешались японские, английские слова.

– Не понимаю, говорите спокойнее, – сказал я на моём слабеньком английском.

– Radiation! Very high radiation!¹

– Who told you so?²

– This one... Do you hear it ticks?³

Он дал мне свою коробку, неприятно задев меня дрожью. Коробка тикала, как часы. Японец надавил кнопку над креслом. На зов никто не пришёл. Он снова резко придавил кнопку, и опять никто не вышел из двери, за которой остались доктор и девушка. Меня трясло.

– Sit down, please; She'll come out... Children don't cry nowadays, and you...⁴

Он встал и мимо нас прошёл к дверям служебной кабины.

¹ Радиация! Очень высокая радиация!

² Кто вам сказал?

³ Вот это! Слышите, как он щёлкает?

⁴ Сядьте, пожалуйста. Выйдет она... Дети уже не плачут, а вы...

– Что с ним? – спросил сосед. – Машинка сломалась?.. У него их много...

Я не ответил.

Больше никогда не полечу... никогда не полечу... никогда не полечу... никогда... никогда... Успокаивал я сам себя.

– Должен быть Омск, а проводница не думает выходить, – сказал неуверенно железнодорожник.

– Это было двадцать минут назад, – посмотрел на часы парень, игравший в карты.

– Что было? – не понял железнодорожник.

– Омск.

– Надо вызвать её!

– Не надо, сама придёт. Им видней.

– Как это не надо?!

– Вы что, никогда не опаздывали?..

Мой сосед поднялся, протиснулся поближе к окну, принял лицом и руками, смотрел в чёрное, в то, что было вокруг нас и под нами, потом сел на место.

– Ни огонька не видно, – посетовал он.

А туч уже нет... Река блеснула... пустыня... тайга... Тут не только садиться, пролетать жутковато.

Время летело, кажется, быстрее нас. Прошло ещё двадцать минут, и было тогда ровно двенадцать часов пятьдесят одна минута по московскому времени...

Мы вдруг ощутили, услышали, узнали раздирающую боль тишины, такое, что было страшнее грома, чему никогда, никогда, никогда не должно было случиться. Он больше не гудел. Кто-то за чёрными окнами, сильный, добрый, уверенный, постоянный, умолк! Он больше не гудел. Он больше не гудел... Только тут я почувствовал, как мы летим, как стремительно, как высоко и страшно мы летим! Потянуло из кресла вон: поплыть в невесомости, легко, совсем легко, пуховым небьющимся телом повиснуть, подняться, парить...

Куда мы летим?..

Салон закричал. Ничего нельзя было понять и осмыслить. Я видел туманно лица людей, видел орущий рот моего соседа.

– Молчать! Я сказал, не орать! – гремел над всеми срываемый в ярости зычный голос. – Пристегнуть!..

На губах у него синела пена.

– Пристегнуть и сидеть на месте каждому! – в стихающем гуле командовал он, умиряя стихийную панику.

Я сумел увидеть, как японец далеко впереди лёг на пол, лицом вниз, и накрыл голову руками.

– Господи, боже мой, – стало слышно, как причитает совсем негромко чья-то бабушка. – Не увижу... не увижу внука. Так и не увижу внука... Господи...

Маленький мальчик, обхватив ручонками шею, плечи, голову матери, спрашивал её, повторяя:

– Мамочка, мы не погибнем? Не погибнем? Скажи, не погибнем? Правда, мы не погибнем?

– Что ты, маленький мой, – так же говорила и говорила мама, – никогда, никогда, никогда, солнышко моё, никогда, никогда... – прижимая к себе лёгкое, ненаглядное, невесомое тельце.

От этих слов замерли, застыли, онемели в тишине взрослые люди, сколько их было тогда в салоне. Только шёпотом сказали позади меня:

– В хвосте безопасней...

Парень, игравший в карты, ответил ему неразличимо тихо:

– В галюне всего одно место. Нас больше... Не робей, хуже не будет...

Я никогда не познаю тишины более святой, чем эта, недолгая, короткая до муки, последняя тишина.

Ударило что-то в хрупкий металл под нами. Скрежетом, гулом и свистом наполнило весь обетованный, милый, неповторимый, единственный, земной, угасающий навеки белый свет... Не стало вдруг слабой крыши над головой... Сдираемая, унеслась надёжная такая прежде стена, швыряя, бросая нас одних в последний полёт, в грудь бешеных, каменных, вздыбленных, яростных в озлоблении кресел...

* * *

...Даже наедине с открытой тетрадью, спустя немало дней после падения самолёта, кажется мне, я не сумею вдохнуть полной грудью...

Кладу ручку на стол, поднимая голову, вдыхая такой доступный, незаметный, обязательный воздух. И опять, как тогда, не могу надышаться, не могу забыть последнее желание – во что бы то ни стало вдохнуть. Набрать, вырвать жадно, глубоко, до хруста в груди, влить в себя каплю воздуха, одну маленькую живую каплю. Но вселенная в ту минуту вся была из холодного и зыбкого, слепящего, как туман, где невозможно что-нибудь ощутить рукой, не то что встать, некуда лечь и некуда подняться, где не осталось для меня, совсем не осталось воздуха. Гиблый, проклятый мир без капли воздуха. Я поплыл в нём, больше ни о чём не думая, ничего не желая, но руки мои вдруг ощутили сами собой уже без меня, что это плывущее холодное зыбкое – простая вода. Земная, мягкая, плотная, живая, бьющая в лицо. И воздух над ней. Целое море воздуха для меня...

Я давился им, кусал и глотал, боясь не поймать, потерять, заливаясь этим сладостным воздухом, плача, как ребёнок, плача от мысли, в которой было всего лишь одно сияющее слово... Спасенье...

Живые силы вернулись ко мне. Я плыл, уже тогда понимая, как мне повезло, понимая, что это не река, не огромное сибирское озеро, и берег поэтому не может быть очень далёким, и кончился для меня тот нереальный, как сон, полёт, или паденье. Или...

Блёклое небо, чистое, успокоенное, доброе, чуть голубело над лесным берегом.

Вот он, берег! А там люди, живые люди, в сухих надёжных домах почта и телефон, и билеты в надёжный уютный скорый поезд. И постель, где можно будет вытянуться, уснуть и забыть, отвести немного от сдавленного сердца мучительный озноб.

А вода была на удивление тёплой, как в жаркий день. Я направился к берегу и вдруг увидел плывущего неподалёку человека.

– Эй! – крикнул я. – Э-эй!

Пловец не ответил. Но, кажется, повернул в мою сторону, плавно покачиваясь на воде, не погружаясь и не поднимаясь от взмаха рук. Ещё на расстоянии, совсем не различая, кто плывёт вместе со мной, вдруг я подумал, заметил, почувствовал, мне показалось: человек этот плачет судорожно и горько. Плачет на воде, вдали от берега. Потом я разглядел такое, что ледяными судорогами прошло по всему телу. Маленький детский, такой знакомый голубой шар, охваченный крепко человеческими руками.

Я поплыл сильнее, резче, поплыл туда, где пятнышком синел на блёклой воде кружок.

Это была женщина, та самая вроде бы не красавица, которую мой сосед называл мамой мальчика. Она дрожала в тёплой воде, губы кривились по-детски. Мокрые волосы плыли, текли по её лицу и плечам. А руки обнимали невесомую прозрачную щемящую голубизну.

– Девочка, – сказал я сдавленно, – деточка... не надо... не плачь...

Кажется, я говорил и про то, что берег ещё далеко, силы стоит беречь. И про волосы, которые надо отлепить от глаз. Мы плыли рядом. Я почти нёс её, такую же невесомую, как этот

маленький упругий поплавок. Но довольно скоро почувствовал, как обманчива её невесомость и сколько надо усилий, чтобы нести на руке ослабевшую женщину.

Она заметила, как мне трудно, волной ушла, качнулась от моей руки.

– Он двоих удержит... возьмишь тут... я больше не буду реветь, – всхлипывала она.

Мы плыли к берегу. Подул ветер. Но свежесть воды сменилась вдруг едким запахом керосина. Левее нас по глади озера змеились радужные полосы, блики, сплетенья, круги.

Я увлёл её в сторону, как можно дальше от липкой настигающей мёртвой радуги.

* * *

На берегу она попросила меня уйти от неё за деревья и не возвращаться, пока все наши нитки до последней не высохнут на солнце. Я пошёл в лес. Он поднимался круто, упруго, дерево за деревом, на большую гору или сопку, так, наверное, здесь их называют. Ноги в мокрых носках больно кололись о такую неудобную для хождения лесную землю. Всё-таки я пожалел носки, снял их, потопал босым, осторожно переступая, чтобы не попасть на какую-нибудь уж очень злую колючку или корень, отыскивая глазами открытую для солнца прогалину.

Лес оборвался неожиданно. На мягкой лесной поляне деревья склонились, поникли в одну сторону, вниз к воде. Спутанные кроны далеко наверху, от самой вершины сопки, падали к озеру точно смятые, срубленные в одну прямую линию, чётким провалом в зелёной свежести леса. Покорёженная, свёрнутая, как фольга, блестела в них обшивка самолёта. Сломанные руки ветвей держали, несли по этой последней дороге пожухлый металл, остатки металла, ужас, крики, мою неутихающую боль.

А внизу, в конце жуткой просеки плыла по озеру, тянулась душная керосиновая магия. Мёртвая в тусклых пунцовых бликах вода на живой озёрной воде.

Я упал на траву и долго лежал мокрый, утопая лицом, руками, телом в мятном дремотном лесном благе.

Потом я выложил из карманов куртки всё, что в них было, выкручивал одежду и развешивал её на ветках. И спал абсолютно голый всё на той же благословенной траве. Потом проснулся от мерного и громкого тиканья. Рядом со мной в траве лежал мокрый паспорт, с мокрой вложенной в него командировкой, бумажник с мокрыми деньгами, расчёска, платок, связка ключей с брелоком вроде ножичка, смешная картинка, нарисованная моим сорви-мальчугом, сухая, потому что, в один прекрасный день я запечатал её в целлофан и всегда брал в дорогу, сухие водонепроницаемые противоударные часы. Но тикали не они. Их не было слышно. Тикал маленький чёрный прибор, оставленный погибшим японцем. Тикал резко и внятно.

Чёрт бы её побрал, эту коробку! Она щёлкала ритмично и ровно, как моё, в конце концов, не очень могучее, совсем не спокойное сердце. Я больше так не могу. Невыносимо для меня. Много в один-единственный день... Как её понимать? Всё вокруг: и лес, и трава, и мятный воздух, и руки мои, глаза мои, тело моё – пропитаны невидимой гибелью?.. Но когда? Сколько минут или дней у меня осталось?..

Между тем я чувствовал, как сон освежил меня. Лес по-прежнему звучал вокруг живыми голосами. Я довольно крепко стоял на земле, очень по-земному хотелось есть. Я видел и слышал, дышал и думал: я жив, я крепок. И не хочу знать никакой радиации. Важнее теперь сочинить приблизительные хотя бы шлёпанцы. Наши ботинки утонули. А придётся, кто знает, сколько шагать по этому лесу, пока не встретишь людей, пока не придут они сюда...

Посмотрел бы кто-нибудь на меня, когда я голым неандертальцем шныряю по лесу, отыскивал подходящее дерево. Лапти, конечно, лапти... Сколько лет я живу на земле, исходил, изъездил её, истоптал груды ботинок, не помышляя о том, что когда-нибудь мне придётся натушно вспоминать, как делают эти необыкновенные лапти.

Моя покойная бабушка у себя в деревне очень хорошо плела корзины и лапти. Когда маленьким ребёнком я бывал у неё летом, она просила меня подавать ей вымоченные прутья для корзин или такие же лыки, берёзовую кору, если она приступала к плетению смешной обуви, которая мне казалась чем-то несерьёзным, игрушечно-театральным, чем взрослые люди могут заниматься только для забавы.

– Поддай-ка мне эти розги, – смеялась бабушка, пробуя на изгиб, выпрямляя прутья. – Чтобы никому не досталось, мы их сплетём, сплетём...

Я помню, как она перехватывала, как заплетала одну лыковую полоску за другую, как выводила носок и скручивала подвязки, упрямо не желая заменить их обыкновенной верёвочкой или шнурком для ботинок. Я очень хорошо это помню. Я очень плохо помню, как, собственно, и куда, с какого зачина вела она свои волшебные плети. Но теперь я думал, что мне без лаптей не обойтись.

Какое благо, что в эту минуту я не приглядывался к лесу, не понимал буйной дикости никем не топтаной травы, необитаемой лесной бесконечности. Мне показалась бы тогда бесполезной любая попытка выйти к людям.

Я нашёл её, старую павшую берёзу, на которой жухлая кора отслаивалась, как мешковина, и даже трава кое-где вплеталась в неё зелёными стрелами. Нашёл недалеко, почти совсем рядом от поляны, сбегал за моим ножичком на брезенте, неудобным и непослушным, и кое-как нарезал на мягких слоистых боках дерева рыжие полоски. Потом выбрал подходящий, очень отдалённо похожий на сапожную колодку сук, убрал, отскрёб от него мешающие мне загогульки, чтобы сплести на нём подобие лаптей.

Оно получилось рыхлое, вздутое, почти бесформенное подобие – лыковые шлёпанцы на любой размер. Окутал ими ноги, примерил на ходу. Если вокруг обмотать кручёной подвязкой – топтать можно.

Затем я сплёл ещё одни лапти. Вторые получились, как мне показалось, почти элегантными. Одежда моя к тому времени высохла, можно было вернуться к берегу, туда, где осталась моя вроде бы не красавица.

Но там её не было.

День близился к вечеру. Тёмной стеной по самую воду стоял вокруг неподвижный глухой лес, окружая не только воду, но и меня, одного меня. Её рядом не было. Сквозь тёплую сухую одежду проник жутковатый вечерний холод одиночества. Я наклонился над водой, пытаюсь не знаю что увидеть на светлом песчаном дне.

– Э-эй! – заорал я.

– Э-гэ-гэ-гэй! – прокатилось вокруг невероятное, никогда мною раньше не слышимое, долгое, с перекатом эхо.

– Что ты кричишь? – сказал кто-то совсем тихо.

Я оглянулся. Теперь она была рядом. Сухая, в джинсах, в курточке. В руке у неё кулёк из лопуха, полный земляники, протянула мне. Вкусней земляники в мире нет! Я сглотнул все ягоды в один миг и только потом увидел, как розовы её губы. Но всё равно поёжился от моей бестактности.

– Какие у тебя роскошные лапти! – сказала она.

– Твои не хуже, вот примерь. – Я подал ей пахнувшие травой, лесными грибами рыжие лапти.

– Спасибо, я этого никогда не забуду...

Потом она спросила, нет ли у меня расчёски. Я дал ей расчёску.

– И что мы будем делать? – сказала она, расчёсывая непослушные волосы.

– Подождём у воды. Кто-нибудь слышал паденье самолёта, придёт к озеру. Мы увидим. Нас увидят. Необитаемых озёр не бывает.

– А если никто не слышал?

– Самолёт начнут искать. Наверное, знают, где случилось... Пошлют вертолёт, найдут поваленные деревья, найдут и нас... Ты не беспокойся.

– Их уже никто не найдёт, – сказала она тихо.

– Почему же?... Да... верно...

И мы замолчали надолго, боясь говорить о них, боясь вызвать в памяти чей-нибудь последний взгляд, крик, движение, боль.

Первой очнулась она:

– Самое главное забыла тебе сказать. Пойдём, покажу.

Подвела меня к дереву, на котором была вырезана до белой почти свежей основы прямая стрелка и знаки: 161 км.

– Сто шестьдесят один километр! – совсем не удивился я. – Не так уж далеко. Там люди, жильё, станция, лесопилка, что-нибудь.

– Надо спешить к ним. – Жест её был нетерпелив и решителен.

– Разумней подождать, – успокоил я. – Сами придут к месту аварии. Вот увидишь, придут. Наверное, в озере видно... если сверху...

Женщина вздрогнула от моих неосторожных слов.

– Ночью будет холодно, – поёжилась она. – У тебя нет случайно?..

– Их у меня просто не было, – догадался я, про что меня спрашивают. – Никогда не было спичек и зажигалки.

– Да, – кивнула она, – помогла бы зажигалка... не промокла...

Становилось очень прохладно, и хороший костёр виделся нам обоим как наяву. К тому же начали зудеть комары, а с ними у меня давняя паническая несовместимость.

– Я сделаю что-нибудь вроде шалаша, – придумал я, не очень представляя, как делают их, эти шалашы. Тем более, когда нет под рукой ни топора, ни стоящего ножа.

Мы ломали сухие ветки. Я соединял их, как мог, в одну пирамидку. Потом обкладывали шаткий неумелый каркас еловой бахромой, густо и щедро, вдоль и поперёк, и снова поперёк и вдоль, оставляя только лишь узкий, чуть ли не комариный лаз. Пока мы работали, вокруг стемнело. Мягкий туман поплыл от озера на берег, выделив самые ближние чёрные стволы, делая зыбким всё остальное: деревья, лесные звуки, наши голоса.

– Подожди, – сказала она и потянулась рукой в туман, к ветке над головой, сняла упругий детский шарик, незаметный в сумерках, развязала шнурок. Мягко взяла игрушку в обе ладони. Шарик вздохнул тихонько и обмяк, совсем крошечный в её руках. Она положила его себе за кофточку, на грудь...

Мы устроились в пахучем еловом логове, завалив себя от комаров, тумана, шороха воды, усталости, щемящей, как боль, тревоги.

– Зачем ты себя так? – спросил я в темноте.

– Не понимаю...

– Шарик?

– Он со мной будет всегда.

– Прости...

В лесу протяжно крикнула, наверное, птица, незнакомо, непонятно.

– Видела в Москве толпу возле сбитого ребёнка, – услышал я прерывистый голос. – Машина... грузовик... Одна прохожая старушка мне сказала: горе какое, чьё-то солнышко погасло...

Кажется, я видел в темноте, как она ладонями вытирает слёзы.

* * *

На другой день мы собирали ягоды, лежали на солнце, смотрели в ясное неоглядное небо, лоя в каждом потрескивании леса шум вертолѐта. Но летели к нам лишь одинокие редкие совсем слабые тучки.

На дереве сохли сморщенными осенними листьями деньги, нанизанные, как шашлык, на тонкий прут, сох похожий на лохмотья паспорт. Сушёный паспорт и сушёные деньги напоминали о дальней желанной дороге.

Очень хотелось есть. Пить не хотелось, помогли ягоды. Мы, не сговариваясь, к воде не подходили ни умываться, ни пить. Пока не подходили...

Погода была великолепная. Можно загорать. Но мы томились таким ожиданием встречи с людьми, казалось, вот-вот над крайним огромным деревом появится вертолѐт, или чуть в стороне, там, где заросли поднимаются в гору, выплывет он, стрекоча над верхушками ёлок, и увидит нас. А нам останется только побежать, размахивая руками, и закричать:

– Вот мы где! Подберите нас...

Разве можно для такой минуты быть в пляжном виде? Они примут нас за бездельников-курортников и пролетят мимо. Страшное слово: мимо.

К тому же, в самой середине озера неподвижно и мѣртво синело извилистое пятно.

Кажется, мы оба старались ничего не говорить о том, что связано с этими жуткими разводами на светлой воде, о том, что вдруг объединило нас двоих, незнакомых друг другу людей. Незаметно для себя мы стали разговаривать на «ты».

– Твой пиджак надо повесить и выпрямить, – сказала она. – После воды он жѣванный. Дай-ка мне его. Ты не так сушил.

И растянула мой пиджак на дереве, обрызгав ткань озѣрной водой.

– Что у тебя щёлкает?

Она вынула из кармана прибор, послушала, как он постукивает, подала мне.

– Положи на траву, – попросил я и тут же соврал. – Сам не знаю... человек оставил... японец...

Она положила на землю, туда, где сновали, спешили, сустились резвые муравьи.

Бегут, подумал я, бегут, усами шевелят, насакивают на своих. Маленькие, но какие волонкут грузы. Бегут и бегут, не признавая радиации. Он щёлкает, они бегут... А если ножки откинут?... Когда? Сегодня? Завтра? Через неделю?... Он щёлкает и щёлкает. Но муравьи бегут! И птицы на разные голоса, почти над нами, рядом, около, всюду, живые птицы, живые муравьи, букашки, трава, деревья, мы сами, наконец... Будь он трижды неладен... щёлкает и щёлкает...

– Извини.

Я положил в карман брюк эту коробку, подальше от весѣлых неугомонных лесных муравьѣв, и начал искать среди веток прямые суки для двух дорожных палок. Надо было придумать себе хоть какое-нибудь серьёзное дело.

Я срезал, вернее, соскрѣб с дерева две крепкие палки – два посоха или оружие от неизвестно каких зверей.

Очень хотелось есть.

Но вертолѣты вот-вот поплывут над нашими головами, разгоняя ветром листья, воду и никем, никогда не спутанные высокие травы.

– Как нам повезло, – вдруг нарушила она горький наш молчаливый обет. – Всю жизнь воды боялась, а тут вода спасла... Ударила, как бешеная... Без памяти была совсем. А если бы ремни пристегнула?..

– Мне тоже не хватило времени пристегнуться.

– Как я хочу домой, – сказала она. – Черти понесли меня в эту командировку. Сибири никогда не видела. Свет поглядеть... Больше ничего не хочу.

Неправда, подумал я, ты хочешь есть. Но разве можно представить себе, как ловить рыбу, искать её в этом озере? Да и чем ловить? И огня у нас тоже нет.

В полдень я по тонкому пруту, воткнутому в землю, по тени от него и моим часам определил точное время, нашёл север и юг. Всплыли-таки бесполезно до сих пор таившиеся где-то школьные знания. Определил, куда показывает стрелка на дереве. Почти на юг, на пять минут правее...

Ночью мы снова прятались в еловом шалаше. Туда не хотели забираться едкие злые комары. Смолистый дурман успокаивал, усыплял, но теперь я слышал все ночные звуки леса, хрипы, шелест, пересвисты, бульканье, хлопанье крыльев.

– Два дня и две ночи никто не летит, – шёпотом сказала она. – Совсем никто. Как же так? Совсем никто... Позвонить обещала, не звоню...

– Кому звонить?

– Маленькой дочке, мужу... Сначала подумают, забыла, как всегда, не торопится... – Она горько вздохнула. – Потом скажут им... Что им скажут, а?

– Не плачь... Вынужденная посадка... Идут поиски...

– Я часто про них забывала... Простить себе не могу... дела, поездки... приехала... доездила...

– Но, зато, сколько радости будет.

– Я тоже другой буду... Скорей бы домой...

* * *

Утром она всё-таки наклонилась к воде умыться и пошатнулась неосторожно. Я подхватил её. Правда, у берега было совсем не глубоко.

– Уйдём отсюда, – нервно сказала она. – Я не могу ждать. Уйдём.

– Почему?

– Посмотри... нет, не туда. – Она подняла руку. – Посмотри...

На воде качался маленький ботинок с поднятой кверху дужкой-ремешком. Плыл одиноко печальный кораблик, не зная, в какую сторону плыть, где его ждут, зовут – не дозовутся...

– Правда, мы пойдём? – Голос её становился умоляющим.

– Да, – сказал я. – Уже утро. Самое время походов. У нас есть отличные два посоха. Мы идём...

Так отправились мы в очень дальнюю трудную дорогу.

* * *

Помню, я никогда не мог без утомления до конца читать книги, в которых люди куда-нибудь шли, добирались, пробирались, хотели дойти, доходили или не доходили. Одна страница сменяла другую, а человек шёл и шёл, через пустыню или дремучий лес, равнину или горы, по снегу или горячему песку. Меня сильнее волновали короткие дневниковые записи подлинных путешественников, иногда страшные своей краткостью.

Казалось, о чём говорить? Ну, шёл несколько дней, голодал, болел от жажды, тосковал, мучился. Но это страница или две. Дошёл, в конце концов. Так и скажи: дорога была тяжкой. Но книги подобной краткости не хотели. День за днём, шаг за шагом описывали они хождения путников, смакуя все мелкие детали, а то и прибавляя, как по следу неотступно и страшно идёт за человеком такой же одинокий голодный волк. Долго идёт, очень долго и поэтому нудно. Простят меня классики: я пропускал эти страницы, где дотошная подробность переходила в

тягостное многословие. Я уставал от них и с раздражением переворачивал, торопясь увидеть конец.

А теперь не было у нас такой благодатной возможности перевернуть страницу, вычеркнуть хотя бы один тягостный день. Увидеть окончание нашей усталости, голода и тревоги.

То, что виделось в книгах и никогда не могло, не смело, не грозило быть наяву, пришло ко мне, городскому жителю так ощутимо, реально, так тяжело, и невыносимо, как не дай бог никому.

Страшно стало на пятый день. А сначала мы шли, надеясь на очень скорую встречу с каким-нибудь весёлым и бородатым лесным жителем, с охотником или геологом, с бабушкой, обирающей кусты малины, с кем угодно, лишь бы не было вокруг монотонности чёрных стволов и непроглядной лесной бесконечности.

Надо было поднимать ноги, чтобы трава не опутывала их, не валила наземь. Опускать их в ту же траву и снова переступать её, опираясь на палку. Шаг, другой, третий, четвёртый, сотый...

Она шла следом за мной, молча, терпеливо, не жалуясь, не торопя.

Мы очень боялись потерять направление, поэтому каждую сотню шагов останавливались, я по часам и солнцу намечал вперёди какой-нибудь заметный ствол, и двигались к нему, продираясь в мохнатой непролазной траве до нужного дерева, и там я снова подставлял солнцу мои такие необходимые теперь часы. Как и положено, до полудня справа от стрелки, потом левее от неё. Прямо на юг, на четыре минуты правее, всего на четыре минуты.

Наверное, каждый день мы шли не больше двадцати километров, пока видно было солнце. Без него мы никуда не двигались. Будто по лесу вела, тянулась невидимая слабая ниточка-паутинка, уйти от которой на шаг в сторону – гибельно и невозможно. Пугала зыбкая условность этой придуманной линии-ниточки, невозможность проверить её не таким, казалось, ненадёжным способом.

Наверное, лес вокруг был очень красив. Я не видел его, не слышал пения птиц, один шорох цепкой травы, один шорох и шорох...

Поднять ногу, опустить, поднять, опустить.

Колючие зелёные кузнечики прыгали в траве, как пружинки разлетаясь в разные стороны.

Живые, думал я про них. Зелёные, как живая зелёная трава. Ну почему ты щёлкаешь, проклятый коробок? Щёлкает и щёлкает, а птицы поют. И кузнечики прыгают, а мы идём, и нет конца нашей лесной дороге.

– Жалко, мы с тобой не ловили рыбу, – вздохнула она.

– Чем ловить?

– Моей курточкой.

– А ты могла бы есть не жареную?

– Завтра, по-моему, смогу... сырую, дохлую...

– Жареные грибы ничуть не хуже.

– Давай добудем огонь трением.

– Глупости... время терять.

– А жаль. От ягод у меня оскомина.

– В книгах путники брали два стёклышка от старинных карманных часов, складывали их, получалось увеличительное стекло. Им поджигали сухую траву.

– Одним стеклом нельзя?

– Наверное, нет. И часы надо беречь...

Мы остановились у намеченного дерева. Я снял с руки часы, чтобы снова проделать уже надоевшие замеры, чтобы найти очередной путеводный ствол.

– Береги, я в тебя очень верю, – сказала она.

К этой минуте я уже знал, как её зовут, но в моём дневнике имени её не будет, как, впрочем, никаких имён, кроме случайных, отдалённых или незаменимых.

Никому из тех, кто нам дорог, воспоминания не должны принести боли.

* * *

Над головой прыснула рыжим листиком белка, смешной с виду, очень добрый зверёк. Она покачивалась над нами, ни капельки не боясь. Я протянул руку. Белочка мягко изогнулась, шевеля губами, яркая, весёлая, живая.

А съедобны ли белки? Вдруг подумал я и поспешил опустить руку. Ведь она живая, как всё вокруг: птицы, муравьи, кузнечики. Так почему до сих пор щёлкает у меня в левом кармане, если всё кругом такое весёлое, певучее, рыжее, зелёное? Щёлкает и щёлкает.

– Я чувствую, тебя раздражает. Я чувствую...

– Кто?

– Щёлкатель.

– Почему?

– Ты всё время хлопаешь себя по левому карману. Я слышу, как он щёлкает. Выброси.

– Нет... не могу...

* * *

В ту ночь мы долго пытались уснуть на мягкой траве, не было сил делать шалаш. И трава казалась вечером уютной, мягкой, сонной, тёплой. Но только потемнело в лесу – от неё пошёл такой холод. И влажный туман, и лютые комары – всё таилось в траве, ожидая нас двоих, измученных и голодных. Если бы мы не появились в этом лесу, кого, хотел бы я знать, ело поедом, кусало, жевало свирепое комарьё? А если некого было кусать, почему все они раньше не передохли?

Передохли? Но ведь они живые. Гудят и зудят, а он щёлкает... И пускай себе щёлкает. Они зудят и кусаются, наглые, живые...

Мы бегали, чтобы согреться, прыгали, кричали на весь ночной лес дикие песни, то ли для тепла, то ли для того, чтобы спугнуть подальше от себя таинственные лесные тени, плывущие к нам отовсюду. Лес не шумел, не двигался. Ветер не качал деревья. Кругом неподвижность и холод, и мокрый туман.

Мы уснули, когда поднялось, наконец, горячее солнце, уснули в дремотной мягкой траве, потеряв половину дня из нашей солнечной дороги.

* * *

Вечером она собирала ягоды, а я думал о ночлеге, ходил вокруг, выискивая что-нибудь путное. Путное не находилось... Лапы сосен и ёлок всюду начинались высоко над головами.

Я что-то не видел или не помню таких ёлок, если это ёлки. Тут был какой-то удивительный могучий лес. Ни одного тонкого ствола, ни одной близкой ветки. Словно выросло всё одновременно, махом, крепкое, статное, хвойное. Выросло, не давая взойти молоденьким деревцам, никакой другой зелёной поросли. Будто не было тут никогда семян и шишек. Или ветром их уносило, сдувало куда-нибудь в сторону, или белки съедали весь урожай. Но я не мог ничего найти для шалаша. Даже трава почти не росла там, где мы остановились. Под ногами упругая насыпь жёлтой многолетней хвои. Моя палка вязла в ней, как в лежалой соломе.

В одном углублении под соснами хвоя поднималась колючим холмиком. Я стал разбрасывать её палкой, сначала так, от раздражения, потом сознательно, пытаясь выгребсти подобие берлоги, просто ямы...

У меня вышла довольно приблизительная берлога или окопчик.

– Ты нашёл клад? – Она подошла ко мне, когда в лесу почти стемнело.

– Дороже клада. Берлогу для ночлега.

– Ты серьёзно?

– Вполне.

– А для меня?

– Для нас двоих. Больше в гостинице нет мест...

Мы легли в сухую пружинистую хвою рядом, тесно. Дальше некуда было подвинуться. Как мог, палкой сдвинул хвою на себя, на неё, с двух сторон, завалил до самых макушек. Палку, на всякий случай, положил поблизости. Но если подойдёт во мраке ночи, подумал я, какой-нибудь зверь, я не сумею проснуться. Не смогу. Такая свалилась на меня хвойная, мягкая усталость.

Муравей побежал по моей руке. Прогнать, шевельнуться не было сил. Живой, подумал я, до сих пор живой. Пускай щекочет, бегают, резвятся.

Она лежала тихо. Я не слышал её дыхания, не улавливал движений. Хвоя стекала, сыпалась от сосен. Мне было невыразимо тепло. Впервые за последние тяжкие дни тревога ушла от меня. Усталость, неведомо как плыла, таяла, уходила в нежное, зыбкое, тёплое. Всюду вокруг одно только это мягкое, нежное, доброе, чему названия, кажется, нет. Одно только это.

Мне, взрослому, совсем не слабому человеку, так упоительно хорошо было давным-давно, когда я не мог ещё стать взрослым, у моей мамы. От неё самой, от нежности, от её рук и тепла.

* * *

Мы шли целый день, останавливаясь только для проверки невидимой, как след ножа на воде, линии-дороги. Тайга (пора привыкнуть к этому слову) всё-таки больше походила на чистый, хорошо проветренный, сухой лес. Трава не мешала нам, она едва пробивалась через опавшую плотную хвою. Нас окружали деревья, похожие на сосны, какие – не знаю: прямые, высокие с бронзовой корой, с иглами длинными, настоящей колючей бахромой на тугих ветках. Моя память подсказывала мне подходящие названия: кедр, пихта, лиственница, туя, можжевельник, багульник... Ну что там ещё бывает? Кедры? Пускай будут кедры. Лишь бы скорей дойти.

Чего для нас было много, до хмельной сытости, так это воздуха, почти горького на вкус, густо-зелёного, крепкого пьяной свежестью.

Мы торопились. Наши лапти уже висели клочьями. Будь перед нами видимая цель, кажется, бежали бы к ней сломя голову. Но вперёди алели на солнце бесконечные стволы. Очень много стволов. Один за другим, один за другим, один за другим, один за другим, один за другим...

Но где же последний?

* * *

Вечером она увидела огромное дупло невысоко над землёй, опустилась в него, как в деревянное кресло.

– Больше не могу. Прости меня. Лапы не идут.

Она сняла с ног то, что совсем недавно было моей гордостью, закрыла глаза, обняв руками сама себя. Я лёг у дерева под зелёным дымчатым окном в синее к вечеру небо. Лежать бы так и лежать. Будь они прокляты все на свете земные расстояния.

– Ой! – вскрикнула она вдруг. – Я нашла! Погляди! В дупле ещё дупло.

В руке у неё была сухая шишка.

– Их тут много!..

Я сел рядом с ней, открыл ножичек-брелок и стал выковыривать им из этой шишки горошины-орехи...

От губ её шёл ореховый аромат, белые зубы хрустели орешками, волосы вперемежку с хвойными иглами, совсем девичьи смуглые босые ноги – всё это, наверное, было привлекательно для постороннего взгляда: меня обожгло колючей неотвратимой жалостью к ней, так по-детски протягивала она ладошку...

Орехов, а точнее шишек, было двадцать семь. Таёжная загадка. Если кругом на земле всё подобрано лесными жителями, расклёвано птицами, как могли остаться прошлогодние шишки в дупле? Разве что беличий хвостик, прилипший к ветке, печальная суть нашегоклада?

Я ковырял их ножом и кормил одичавшую лесовичку, вдыхая с наслаждением незнакомый лесной привкус.

– А ты? – возмутилась, отодвинула она мою руку...

Кажется, первый раз мы были почти сыты. Первый за тысячу дней. Правда, я долго не мог приучить себя жевать одну мякоть и от жадности крушил её вместе с корочками до боли в зубах.

– А теперь чего тебе хочется, лесная кикимора? – попробовал пошутить я.

– Тёплую ванну, телевизор и мягкое кресло, – засмеялась она.

– Ты веришь сказкам?

– Очень...

– А я нет.

– Одичал в лесу. Тёмным скоро станешь, как дупло. Мы с тобой так одиноки.

– Ну и что, беда какая? Многих полезно было бы на время хотя бы окунуть в одиночество.

Она снова засмеялась:

– В тюрягу?

– Будто без тюряги нет одиночества.

– Но зачем?!

– А чтобы однажды поняли, какое благо жить среди людей, называть кого-то близким, родным. Не каждый достоин быть не одиноким.

– Философ, – не то с иронией, не то с грустью сказала женщина, и мне расхотелось о чём-либо говорить.

Спали мы, сидя в этом дупле, как в большом деревянном кресле, жёстком и неудобном. Комары около нас больше не летали.

* * *

На другой день жадно хотелось пить, невыносимо хотелось воды. Мы ели ягодную свежесть, много ягод и всё же очень хотелось хлебнуть обыкновенной воды.

– Куда мы попали? Это не Сибирь, такая жара, – вздохнула она.

– Только днём жара. Ночью ты плачешь во сне от холода. И деревья тут вполне сибирские.

– Разве я плачу?

– Стонешь.

– Извини... Хотя бы дождь пошёл.

– Не надо нам дождя, солнца не будет. Нам с тобой везёт... погода, воздух, ягоды, орехи... У тебя необыкновенная способность видеть ягоды...

Мы разговаривали на ходу, шагая мимо великолепных упругих деревьев. Мысленно я называл их кедрами. Кажется, это и в самом деле были кедры, но я видел такие первый раз и думал об одном: скорей бы они кончились. Я больше не верил ни солнцу, ни часам, ни удаче, которая приведёт нас к жилью, к людям. Казалось, так легко разминуться в лесном океане, пройти мимо крохотной точки в бесконечную вселенную дикого леса и блуждать в нём до самой зимы.

Хотелось кричать, проклинать и лес, и безмолвие вокруг, и часы, и дорожную палку, и взъерошенные колючие лапти, людей, которые не желали попадаться навстречу, орать о них что-нибудь обидное, чтобы отвести от себя безмолвие, нескончаемую тишину. Я тупел от миллиона шагов, от миллиона веток, от шелеста хвои, от невозможности крикнуть, ударить палкой по неподвижным стволам. Рядом была она, моя вроде бы не красавица, молчаливая, с припухшими от усталости глазами. Если бы она плакала, ныла, как бы я зарычал на неё, заревел на весь лес. И может быть, нам обоим стало немного легче.

Весь день мы не замечали, что лес поднимается в гору, ведёт нас по отлогому склону к вершине холма. Наверное, поэтому как никогда усталость была неодолимой, до ноющей боли в ногах. Только теперь мы видели, что земля полого спускается вниз: и туда, откуда мы пришли, и туда, куда пойдём завтра.

Я выскреб на дереве стрелку, лёг на землю под этим проклятым деревом, не в силах подняться, копать берлогу, собирать хвою, думать о ночлеге.

– Не надо, – вдруг сказала она. – Я буду спать на земле, рядом с тобой.

«Да что же это делается, – подумал я, – она понимает меня как лесной зверь лесного зверя, одним инстинктом».

– Это вершина холма. Не продует?

– Земля тёплая.

Не открывая глаз, я понял: она легла.

– И комаров не стало...

– Где вы, комарики? – пошутил я. – Кис-кис. Нам грустно без вас.

Почему, в самом деле, их нет? Подошли? Радиация? Как это может быть: вселенная без комаров? А птицы пока поют...

– Разве ты не заметил – комаров нет.

– А что же тогда зудит и гудит?

– Я не слышу... В траве гудит.

– Мне показалось, ветер гудит.

– И ветра нет. Ноги мои гудят...

Когда наступила ночь – не знаю. Темноты я не видел, но и во сне лицом ощущал её холодное прикосновение, слышал, как она волнами плывёт вокруг и тоненько гудит еле слышно комариным звоном в непроглядной черноте ветвей.

Холод заставил меня открыть глаза.

Темно. Жутковато. Очень тихо. Не пожелаю никаким самым отпетым романтикам просыпаться ночью в лесу, не зная где, не понимая, как ты сюда попал, откуда чёрные стволы кругом тебя и чёрное хвойное давящее низкое небо. И что-то гудит комариным писком, отдалённо гудит, наплывом, то сильнее, то слабей, набегая волнами, пропадая в шорохе леса.

Я вскочил. Вертолёт! Неужели вертолёт очень далеко рыщет над лесом? Очень далеко. Сердце упало...

Да что ему делать ночью в такой темноте? Мерещится. Дошёл да ручки... А что будет потом?

Лёг на землю рядом с ней, представляя, как вертолёт пройдёт над нами, разбудит её, поднимет, а я не встану. Зачем? Орать бесполезно, костра у нас тоже нет.

А если гудит лесопилка? Потеха. Ночью гудит лесопилка... Значит, ведьма воет или ветер. Ну и пускай себе воет и поёт.

Я уснул. И видел, как они прилетели, как удивлялись нам, пожимали руки, хвалили, показывая друг другу, но забирать в уютную тёплую кабину, пропахшую маслом и кожей, не спешили. У нас дела, говорили они, подождите, мы прилетим, обязательно прилетим. На той неделе, может быть, на другой... Сил кричать, умолять, уговаривать не было, даже самих слов для крика тоже не было. Как остановить их, торопливых, занятых очень важными делами?... Вертолёт, удаляясь, очень тихо щёлкал мотором, чётко и ровно, жутко и монотонно щёлкал и щёлкал.

Она разбудила меня. Голос её, руки на моей голове...

– Что с тобой?

Гладила в темноте мягко и нежно.

– Всё будет хорошо. Мы дойдём, обязательно дойдём, вот увидишь.

И затихла рядом, единственный тёплый комочек в пустоте и холоде.

А комаров уже нет.

Я поспешил увернуться от её руки, чтобы не коснулась она случайно мокрого от слёз...

В этом лесу один мужик. Это я. Подумаешь, беда. Живые крепкие люди, шагаем себе и шагаем. Конечно, дойдём. Дойдём, дойдём, дойдём...

* * *

Утром лес окунулся в туман. Зыбкий, слабый, как наступающий день. Совсем не туман, а рассвет поплыл по тихому лесу, оставив из бесконечности неподвижных деревьев не более десяти около нас, прибавляя к ним постепенно одно, другое. Медленно вытаскивают они в тумане, замороженные, светом. Как тихо подкрадывается день! Меня разбудил, её разбудить не мог.

Я смотрел на неё, разглядывал откровенно всю от макушки до пяток, будто видел впервые такие длинные спутанные волосы, под ними просвечивали губы, лицо, какое редко встречалось мне. Думалось почему-то совсем непонятное: оно с подпалиной. Почему с подпалиной? Какая такая подпалина может быть у молодой, гибкой... Но другое слово не приходило.

Вот будет жалко, если такая простудится, мысленно перебил я сам себя, довольно сердито, но снял пиджак и накрыл её на удивление мягко и осторожно.

По времени была ещё ночь, едва разбавленная свежим рассветом. Ко мне из тумана, по-прежнему, летел едва уловимый рокот, или гул, или зуденье, или чёрт его знает что. В этот блаженный миг я и надумал забраться на дерево.

Над моей головой, прямо над нами уходил в небо непохожий на другие тёмный крепкий ствол. Он был извилистый, волнистый, будто прошла по нему однажды ломающая дрожь, изогнула, как тонкую ветку, и застыла навсегда волнами от самой земли до макушки. Наверное, никто не отличил бы это волнистое дерево среди многих стволов, если смотреть на него сбоку. Но я видел снизу, видел, что дерево наклонялось в одну сторону, поэтому на каждом изгибе можно стоять, прилечь на него, удержаться, подняться на другой изгиб, до веток. А там будет легко. И стоит оно тут на вершине холма. Или теперь, или совсем не ползу...

Никогда по деревьям не лазил, а тут решил: иного нет. Многие в лесу находили дорогу таким обезьяним способом, если судить по книгам и наивным сказкам.

Я подошёл к дереву прикинул высоту, которую придётся одолеть... и начал. Обнял обеими руками пахучий серо-зелёный ствол, ногой нащупал невидимый выступ на коре, потянулся, как мог – получилось. Опять нашёл невидимый выступ, обхватил, прижался к доброму

послушному мудрому дереву – получилось. Минут через двадцать я был на высоте потолка моей комнаты. Руки дрожали, я висел на дереве, боясь рухнуть вниз, набирая, как мне казалось, воздуха и сил, чтобы добраться до первой могучей ветки, а там отдохнуть вволю. Опускаться вниз, обратно, было ещё тягостней...

До ветки я дошёл не скоро, хотя была она теперь не так уж далеко. Я сел на неё и закрыл глаза, потому что всё кружилось от напряжения, от душного аромата смолистой коры. Сидел и дышал, и никуда не спешил, никуда. Зачем? Так удобно и вольно сидеть на ветке и дышать, и дышать, и дышать...

А потом полез. К новой перекладине-ветке. Так же трудно и тяжело, но уже немного скорей. На этой остановке тоже сидел очень долго, потом ветки пошли одна за другой. По ним забираться было не трудно. Если бы только не дрожали руки, не сводило от усталости колени. Если бы не было так жутко смотреть на землю внизу.

И вот передо мной открылись макушки деревьев.

Что я видел?

От края до края нескончаемый волнами зелёный лес. Голое небо, совсем без облаков, без единой маленькой далёкой погребушки-вертолёта. Ни единого дымка, ни одного, нигде, ни справа, ни слева, ни вокруг.

Примерно там, куда мы шли, виднелся как будто бы провал, яма в зелёном массиве леса. И там, если мне уже не мерещилось, на первом утреннем солнце блестело, нет – проскакивала непонятная блёстка. Я смотрел на неё до рези в глазах, но так и не сумел ничего разобрать и определить. Посверкивает, мелькает маленькое, неопределённое. «Паутина качается меж ветвей, – подумал я, – паутина. Что в лесу ещё может быть?» Но пчелиное гуденье тут на высоте было намного сильнее, чем на земле, и доносилось оно как раз в направлении паутины-блестки.

Посидев, полежав на ветке, я начал мой долгий путь к земле.

Руки болели, жухли от смолы, но другого пути у меня просто не было. Зато накопился богатый опыт и даже сноровка.

С последней ветки я увидел её лицо, поднятое ко мне, улыбку, и, если уж быть предельно откровенным, углубление в кофточке на груди – сверху вниз. Она сняла куртку и, наверное, только что делала разминку после не очень тёплой земной постели.

Но зрители не входили в мои планы, поэтому скольжение вниз далось мне трудней, чем подъём. Видно, я был очень смешон, цепляясь за дерево.

– Не упади, – сказала она, и я не упал.

* * *

Мы шли по лесу ровно два часа, когда ни я, ни она уже не сомневались в том, что в лесу гудит не ветер, не лесная ведьма, не лесной зверь, а некое механическое создание, скорее всего, мотор, возле которого непременно будут люди.

Мы шли окрылённые, живые, крепкие, молодые (она, во всяком случае), шли довольные собой, своим поведением, отвагой, находчивостью. Мы шли на зов металла, к людям, к телефону, к билетным кассам, поездам, автомобилям, пароходам, но только не к самолётам. Только не к ним.

В лесу обозначился довольно чёткий просвет. А потом перед нами открылась огромная поляна с кирпичными постройками на ней, с высокой железной мачтой, на которой лениво жужжал ветряк для подачи энергии, для накачки воды, всё равно для чего.

Мы понеслись к нему, задыхаясь от радости, смеясь. Вот уже видно горы кирпичей, белые новые штабеля досок под навесом, кладка бетонных плит, ещё каких-то предметов, скопление машин, целый табун техники: грузовая машина, пожарная, фургоны, вагончики, бульдозер, легковой автомобиль, автокран. И за ними светлый кирпичный дом, и стеклянный дом, похо-

жий на большую оранжерею, фундаменты начатых построек, водонапорная башня. Всё было тут, кроме самого главного, что придавало всему неудобный для глаз, неестественный вид. Нигде ни одного человека.

* * *

Про всё остальное потом. Завтра у меня много дел. Вечером снова сяду за дневник и всё напишу.

Тетрадь вторая

Мы ходили от одного строения к другому и ничего не могли понять. Стучали в двери, окна, звали. Никто не выходил. Самое большое здание, правда, было с одним окном и лишь одной дверью, но за прозрачными стенками оранжереи в путанице кустов и грядок тоже никого не видно.

В открытой фрамуге у ската высокой стеклянной крыши вились пчёлы. Дверь заперта, и все двери тут крепко-накрепко заперты: в башне водокачки, в доме, во всех машинах и вагончиках-прицепах, где живут обычно, как я понимаю, строители. Никаких пресловутых ковриков, где могли бы лежать ключи.

Мы поднимались на фундаменты недостроенных зданий по ступеням, вроде крылечек, надеясь увидеть в котлованах рабочих. Но котлованов просто не было. Фундаменты уже накрыты бетонным настилом, и видно, что входы в них запечатаны деревянными щитами под кровельной плёнкой. Вероятно, это входы в подвалы. Вокруг них выложены кладкой намётки-очертания будущих комнат. Мы перешагивали из комнаты в комнату, слегка встревоженные безлюдьем. Как-то уж очень сиротливо маячили посреди «комнат» большие деревянные подмости для каменщиков.

Груды всяких строительных материалов: плиты, остеклённые рамы в картонной упаковке, дверные блоки, водопроводные трубы, унитазы, балки, мешки с цементом, забитые крепко ящики, банки с масляной краской, штабеля досок, многое другое, наверное, полезное, только негодное для еды – всё это лежало под лёгким навесом из металлических труб и шифера.

Техники, машин оказалось больше, чем виделось поначалу. Они стояли в ангаре, в котором ещё не было стен: крыша на кирпичных столбах и серый бетонный пол. Экскаватор, машина для чистки снега, пожарный автомобиль, машина с длинной платформой, автопогрузчик, небольшой комбайн (если это был именно он), ещё какие-то сельские приспособления вроде косилок и сеялок, могучий автокран, лесовоз, трактор обыкновенный и трактор необыкновенный с большими клещами вперёди, с пилой, выступающей как резак. Рядом, словно собачонки возле слонов, машинки для стрижки газонов. И ящики, ящики, десятка два ящиков. Судя по надписям, они были с моторами, небольшими станками, запасными частями, аккумуляторами, кислотой, маслом для смазки и прочим неувлекательным в эту минуту для нас двоих, измученных, голодных.

В стороне у бетонной площадки тоже под навесом нормальная бензоколонка. Самый верный признак живой цивилизации. Но вокруг не было ни одного человека.

– Значит, совсем недалеко есть какой-нибудь главный большой посёлок. Пойдём искать? – предложил я.

– Не могу... – неуверенно и умоляюще сказала она. – Сторож, наверное, сам придёт.

– От кого сторожить?

– От большого посёлка.

– Хорошо, тогда будем вести себя как жулики. Он выскочит из леса, твой непутёвый сторож, и поймает нас.

– А мы его...

Совость меня почему-то больше не удерживала. Я дикий человек, озлобленный и голодный. В конце концов, мы вышли из леса и не желаем знать никаких приличий, никаких условностей. Ходите, вяжите нас, хватайте, ведите в милицию, но только появьтесь кто-нибудь!

В оранжерею ломиться не стоит. Постройка под ветряком тоже ничего не сулила. Там, конечно, электрика, двигатели, динамо. Большой дом с одним окном – хорошая приманка, но мои инстинкты погнали меня, прежде всего, к водонапорной башне. Там вода.

Мы сумеем расколотить любую дверь. У нас под руками груда могучих инструментов: кувалды, ломы, топоры, лопаты. Но самое незначительное нарушение уголовного кодекса – разбитое стекло...

Я саданул дверь – бесполезно. Рядом, над головой, маленькое в квадрат окошко. Принёс из-под навеса нормальную лесенку-стремянку, встал на неё, слегка надавил стекло, рама подавалась. Она была не заперта! Я спрыгнул внутрь каменного прохладного помещения, посмотрел вокруг и диким голосом начал орать, зовя к себе лесную женщину.

Бутылка с фруктовой водой... На табуретке сияла тёмная бутылка с фруктовой водой. С картинкой, с алыми ягодами на ней... Завод безалкогольных напитков. «Рябиновая». Да здравствует «Рябиновая»!

Боясь разбить, я ножичком отсоединил металлическую пробку и дал эту бутылку ей... Мы пили из горлышка, по очереди, взахлёб. Ну почему раньше я никогда не пил такой неповторимой, такой замечательной воды? В каких магазинах её прятали, почему не попадалась она в большом городе, в поездках и странствиях?

– Пожалуйста, пейте «Рябиновую»! Покупайте одну «Рябиновую», – сказал я.

Она смеялась мокрыми счастливыми губами.

Потом я увидел кран. Мы наливали прохладную воду в бутылку и снова пили до изнеможения, до бульканья в груди.

Лесная женщина умылась этой водой, растирая воду по лицу, как бальзам. Через окно-форточку мы вышли на волю. Первая кража состоялась.

Потом, извините нас, люди, мы разбили стёкла, тройные стёкла в доме, в единственном окне. Приставив к нему такую полезную стремянку, проникли в комнату, где были только четыре стула, длинный казённый стол и нестораемый шкафчик в углу. На нём часы. Послушал – тикают, как у меня дома. Двенадцать минут пятого... Мои часы обгоняли эти всего на две минуты! Солнышко не подвело.

Дверь из комнаты тоже оказалась основательно заперта. Стоило бить окно, чтобы оказаться в тупике, в унылой клетушке? Всё на крепких запорах, будто на даче, брошенной, законченной до приезда хозяина.

– Подождём тут, – сказал я, – хоть ночевать будем под крышей. Люди сюда придут.

– А завтра?

– Сломаем к чёртовой бабушке все двери...

Остаток дня мы разглядывали чье-то негостеприимное владение. Машины все новенькие, с иголки – отметил я. Кирпича много, фундаменты ещё для трёх больших строений. Куда же все подевались?

Придут, непременно придут...

Болели ноги. Лапти уже не помогали, их просто не было. Мы нарвали целый ворох лесной травы, постелили её на полу комнаты так, что получился чуть ли не стожок, и вечером, до заката, буквально свалились от усталости.

Она мгновенно уснула, морща во сне обиженно губы. Распущенные волосы тут же переплелись с тонкими зелёными травинками. Ресницы вздрагивали, смахивая травинки-стебли. Как плачет во сне...

Трава пьянила густым ароматом, похожим на что-то съедобное. Хотелось её жевать. Как молоко. Хотя молоко не жуют. Или у неё был привкус отменного знаменитого пива, которое мне подавали в одном славянском городе с немецкими домами, улочками, набережными среди мягких зелёных мини-холмов. Оно, это пиво, до половины под шапкой, в высокой стеклянной баклаге, таяло во рту, как тает привкус лесного сена, как тает свежесть в разбитом окне...

...Я жил в старинной гостинице над рестораном. Ходил обедать, как на маленький торжественный праздник, удивлявший меня уютом, хорошо поставленным радушием и настроением.

Однажды увидел в карточке название таинственного «Монако», попросил подать... Жду. Смотрю, как течёт незнакомая тихая жизнь в хрустальном окне, вдыхаю пиво неторопливыми глотками. За ближним столом угадываю моих соотечественников туристов. У каждого, кроме баклаги с пивом, чашка бульона и жареные шпикачки. Деньги берегут на магазины...

Я жду. В зал величественно вкатывается хромированная сверкающая тележка. По обеим сторонам её два «дипломата» в парадных одеждах, отпущенные, вероятно, из Министерства иностранных дел. За ними в парадном фраке шествует метр. Кажется, ещё мгновение – заиграют серебряные трубы!

На тележке нечто серебряное, высокое. Шапка Мономаха в серебряной фольге. Туристы замерли. Шествие приближается ко мне. «Дипломаты», кивнув слегка, по-дружески, удаляются. Вельможный мэтр поднимает серебряные ножички, взмахивает ими, как серебряными лучами, разрезая колпак из фольги, распахивает его, торжественно выпуская на волю, томившийся в колпаке невиданный вожденный аромат. Я вижу на королевском блюде омлет с утопленными дольками горячих мандаринов.

Слышу, как туристы на московском наречии между собой говорят: «Наверное, американец... Или австриец, буржуй...». Слова сказать не могу. С мэтром объясняюсь одними жестами. Убегаю, не доев «Монако».

...Вижу его теперь в этой казённой комнате, заваленной травой, с унылыми стенами. Вижу, пока не проваливаюсь в беспробудный сон, утешая себя надеждой на встречу с людьми, на буханку чёрного хлеба, сухарь, в конце концов, и что-нибудь... Что-нибудь...

* * *

Утром после обхода владений, когда мы снова убедились, как заперты наглухо все двери, я нашёл под навесом в одном из ящиков стамеску и вернулся через окно в комнату. Начать я решил с этого стола. Мне казалось, в нём будет хоть какой-нибудь намёк или ответ на все наши недоумения.

Стамеска помогла мне изувечить, вскрыть один ящик. В нём лежали технические паспорта на радиоприборы, чистые тетради, шариковые ручки, ластики, скрепки, дырокол, что-то ещё знакомое, городское.

В другом ящике, сломанном с большим трудом, я нашёл бумаги, от которых у меня, как пишут в книгах, всё помутилось. Это слишком приблизительное слово к тому, что со мной было. Руки, ноги не слушались. Я лёг в траву, на пол. И не сразу дошло до меня, что среди бумаг лежал ещё и ключ. О нём я подумал, когда пришёл в себя, когда смог отложить расчерченные линейками листы с печатными буквами сверху «Накладная». В линейках прыгали слова:

Колбаса твердокопчёная – 42 кг.

Мясные консервы тушёнка – 2330 банок.

Молоко сгущённое – 1246 банок.

Рыбные консервы «Судак в томате» – 900 банок...

Масло, сыр, мука... и дальше, дальше...

Даже теперь, много дней спустя, чувствую густой, сводящий с ума привкус этих слов.

Потом я встал и почти машинально взял в ящике стола ключ. Особый ключ от несгораемых шкафов. Он подошёл к нашему, вернее к чужому сейфу.

Там я нашёл большие тетради в картонных переплётках и связку разных ключей с прицепленной к ним картонной биркой «дубликаты». В коробке лежали с такими же бирками ключи от машин.

* * *

Любые пещеры Аладдина – пустая шалость, наивное ничто по сравнению с теми сокровищами, которые мы увидели за всеми закрытыми дверями. Это были кладовки, гружённые продуктами, одеждой, обувью, книгами, радиоприборами, в том числе пятью телевизорами, лекарствами, оборудованием для самого разного лечения. Две бормашины, к примеру, солнечные лампы, незнакомые аппараты.

Лестница вела вниз, в подвал. Много хранилось там или на втором этаже в полутёмных кладовках, куда проникал свет только сквозь узкую стеклянную полоску из прозрачных блоков под самым потолком.

Я включил свет и онемел от обилия того, что можно было жевать. Масло хранилось в морозильниках, сыр и кое-что другое – в холодильных камерах. Банки лежали в картонных коробках... Всюду воздух был пропитан холодильным озоном.

Лишь одна дверь оказалась в этом доме незапертой – в туалет. В нормальный, городской, сверкающий голубым – туалет. С умывальником, с краном, из которого текла вода, зеркалом над ним, откуда глядел на меня мрачный щетинистый худой мужик, небритый, как арестант...

* * *

Мы открыли стамеской две банки тушёнки, жадно хватали мясо руками, хотя потом нашли открывалки, ножи, вилки, посуду, салфетки – ну что там ещё придумано для воспитанных людей?

Мы пили фруктовую холодную воду, жевали печенье с маслом, свежим, сливочным. Если бы я знал раньше, какое фантастическое удовольствие придумано, создано, вложено во все эти жестяные, полированные сверкающие банки!

Простите нас, беспечные хозяева. Мы ждали вас утром, ждали половину дня, ждали, пока ходили по вашим кладовкам, ждали, когда начали стамеской долбить жестянки... надеялись, что вот-вот за нами придут и станут вязать лесных уголовников, отпетых взломщиков. Никто не пришёл: ни днём, ни вечером. Больше у нас не хватило ни мужества, ни сил.

* * *

На другой день мы сами себе устроили королевский завтрак. Умяли по два сырых яйца, не обратив тогда внимания на красные буквы очень сложной дырчатой коробки «для инкубатора». Жевали копчёный припас, хрустели печеньем, снова откупорив бутылки «Рябиновой», тоже не заметив строгой надписи на вложенном листе бумаги «Образцы для сравнения».

Лишь потом я пошёл искать в пещерах Аладдина хоть какое-нибудь мыло и напал не только на «русский лес», «банное», «земляничное», «детское», но и на целые груды зубной пасты, щётки в целлофане. Увидел то, о чём и думать не мог: электрические бритвы, безопасные лезвия в нарядных коробках и станочки для них.

– Ура! – завопил я на весь дом. – Да здравствует мыло.

Она смеялась, глядя, как я размахиваю руками, жонглируя мылом.

– Ну и влетит же тебе! Всё краденое.

Кажется, мы понемногу начали воскресать из первобытного состояния, выходить в люди.

Я нашёл стопы мохнатых новеньких полотенец в той же кладовой, где была такая богатая косметика, нашёл ведро и большой эмалированный таз. Ведро взял себе, а таз торжественно вручил ей.

Мы разделили наши умывальные владения. Мне досталась водонапорная башня. Там я и сотворил себе ту блаженную очистительную прохладную баню, какую никогда не забуду.

Бесполезно было касаться моей щетины электрической бритвой. Я прихватил казённый бритвенный прибор, вложил в него лезвие, намылил себя и начал смахивать лесную, дику хвою, напевая от наслаждения.

Потом я заливал себя водой, прямо из ведра, казалось, отмывая не телесную грязь, а усталость и горе, тяжкую муку необъяснимой вины за эту земную живую радость.

Вода лилась по каменному полу, я шлёпал по ней босыми пятками, счастливый, мокрый, свежий. Тёр себя полотенцем...

– Ты не узнаваем, – сказала мне лесная неузнаваемая женщина.

– Прошу не заглядываться, ещё понравлюсь.

– Не бойся, ты не в моём вкусе.

– Это не имеет никакого значения, поскольку ты в моём.

– Я думала до сих пор, ты герой, – засмеялась она.

– Кто же я?

– Шалопай.

– Жулик я. Мелкий воришка. Нет, очень крупный рецидивист. Подожди, я украду сандалии. Пару! Две пары сандалий. Хочешь ботинки? Мужские ботинки? Я подарю тебе. Женских там почему-то нет...

Мы отправились изучать остальные здания в непонятном посёлке, обутые, как вполне приличные люди. Какая светлая радость – новые крепкие сандалии на пятках, новые, хоть и чужие, носки.

* * *

В оранжерее летали несколько воробьёв, попавших сюда через приподнятые фрамуги. Тонко зудели пчёлы в нагретом и влажном воздухе среди сплетенья самой разной понятной и непонятной зелени. По тонким пластмассовым трубам всюду капала вода. Я чуть было не придавил серую лягушонку на песчаной дорожке, разглядывая крохотные помидоры, усатую землянику с цветами в сине-зелёных листьях.

Внутри она казалась огромной, лесная оранжерея. В ней росли незнакомые деревья и кустарники. Но про это зелёное богатство – потом, в более спокойную минуту...

– Не могли такое хозяйство бросить надолго, сюда придут, – уверила она.

– По-моему, работает автоматика.

– Ну вот, – обиделась она, будто я виноват, что работает автоматика, – всё равно садовник нужен...

В конце оранжереи, там, где сложены пластиковые мешки с удобрениями, лопаты на садовой тачке, нашлась дверь в соседнюю пристройку с матовыми непрозрачными стеклянными блоками поверх стен, от которых в большом зале было светло. Куда же мы попали – на очередной склад, некую фабрику или в котельную? Широкие, средние, узкие оранжевые, зелёные трубы тянулись по всему залу от котлов, один из которых был оранжевым, а другой зелёным. Оранжевый покоился на кафельной печи, зелёный стоял посреди зала, видимый со всех сторон, с двумя огромными вентилями на закруглённых торцах. Это всё можно разглядеть не сразу, потому что проходы между котлами и печью заставлены самым неподходящим для труб и котлов – не распакованной финской мебелью: шкафами, диванами, кроватями, стульями, столами, тумбочками, а ещё пачками книг, завёрнутыми в бумагу.

В зале довольно жарко. Не знаю, что меня толкнуло, но я потрогал зелёный котёл и вскрикнул, он был горячим, хотя сплетение труб вокруг, мимо которых мы пробирались, нигде не казалось нагретым. Я заглянул в открытую дверцу печи, увидел там не опалённые, совсем

новенькие свежие стенки, холодные, без малейшего следа какого-либо горения. С опаской тронул оранжевый котёл, его холодный матовый металл.

– Мистика, не понимаю, – сказал я, – кто греет зелёный котёл.

– А я давно уже ничего не понимаю, – вздохнула моя спутница.

В строении под ветряком – электростанция. В одном отделении – система аккумуляторов, душный уксусный воздух, мерцающие коробки с двух сторон. За дверью мягко жужжал генератор. От него к потолку шёл механический в красном кожухе карданный привод. По нему текло мерное гудение.

Очень солидный, плотный, весомый по виду генератор. Но как его может хватать на все увиденные мной холодильные камеры, выключатели, моторы в котельной, водонапорной башне, розетки, лампочки? На весь посёлок?

Тут же был ещё более могучий генератор, присоединённый к непонятным трубам, уходящим в бетонный пол. Трубы, очень похожие на те, что в котельной. Справа у стены щит с рубильниками. Рядом голубая тумбочка со шкалой приборов. Большой генератор молчал.

– Ты умеешь водить машину? – спросил я.

– Конечно... Мы уедем?

– Сначала поищем дорогу.

– Разве дороги нет?

– Мне кажется.

– Но столько машин?

– Дороги не видно, просек не видно.

– Как они сюда попали?

– Не знаю... Хочешь, я тебя покатаю?

– Хочу.

– Если она с бензином...

Я показал ключ с надписью на картонке: «Нива». Мы подошли к новенькому зелёному автомобилю. На капоте «Нивы» слабый сквознячок шевелил летучие семена. Я дунул в них, и травяные семена покатались крупной с гладкой поверхности. Упругая дверца щёлкнула, и я впервые заглянул в такую машину, в чёрный уютный салон. К удивлению моему, на спидометре было десять километров.

– Её несли на руках, или...

Не успел я сказать, как услышал не то слабый вскрик, не то судорожный вдох.

– Радио, – произнесла одними губами лесная женщина. – Дай мне. Она прикоснулась трепетными пальцами к белым клавишам приёмника, жадно повернула ручку, боком присев на кожаное чёрное сиденье.

– Подожди, я включу, – сказал я. – Руль, видно, заблокирован.

– Ах, да, совсем дикая стала.

Приёмник загудел. Шорох поплыл от него, таинственный шорох далёких земных расстояний. Звуков не было.

– Попробуй ты, – сказала она почти жалобно.

Я стал давить на клавиши, но звука не было.

– Тут где-нибудь есть антенна... выдвинуть антенну... кнопка для неё.

Мы стали вдвоём искать нужную кнопку. Вот она, под самым щитком. Я ударил по ней. Прутик антенны плавно потянулся над зелёной гладью капота и замер, как лучик, нацеленный в самое небо.

Шорохи стали полнее, громче, но звука, слов, речи, музыки не было.

– Куда мы с тобой попали? – пожаловалась она. – Станции не ловятся. Приёмник у тебя исправен?

– Где ж ему сломаться. Новенький... сильный.

– Покатай меня, – сказала грустная женщина. – Прежде я не замечала, как уютно пахнут автомобили...

Машина завелась не сразу, но включилась добротно, почти неслышно. Я потрогал передачи, ножные педали, подождал, пока рядом сядет она, и вывел машину из ангара, потихоньку, привыкая, приноравливаясь к ней.

Рычаг от руки непривычно далеко. Перед ним ещё два рычага поменьше. Судя по надписи – для привода на переднюю тягу. На щитке почему-то не один, а два спидометра. На восемьдесят и сто восемьдесят километров. Если это спидометр... Сидеть очень удобно, можно развалиться вальяжно.

Чудесная машина, новогодний сон автолюбителя...

– Кража полотенца – мелкое хулиганство. Машина сама по себе уголовщина, – пытаюсь отвлечь её, вроде пошутил я.

– Найдём дорогу и поедem к ним.

– К медведям, – кивнул я, – к лешим и русалкам.

– Ты мрачен.

– Просто не вижу дороги.

– Значит, по-твоему, машины прибыли сюда по воздуху? – не соглашалась она.

– Вертолётom...

Я вёл «Ниву» по самой опушке леса. Проехали грядки, на которых, если не ошибаюсь, росла картошка. Маленькое поле с колосьями чего-то или не с колосьями. «Нива» покачивалась на ямах уверенно, мягко дрожа мотором от невозможности выскочить на большую стремительную дорогу.

Слева непролазным частоколом один за другим пробегали стволы. Матёрый лес окружал поляну высоченной стеной. Дороги не было. Тропинки не было.

Мы катались. Я нажал сигнал, я давил на сигнал. Криком кричала «Нива», плакала, не умея вырваться из огромной зелёной клетки. Выл над лесом тревожный сигнал одиночества.

* * *

Когда мы вернулись, она подвела меня к телефонной розетке слева от стола.

– Я видела на складе аппараты, – взгляд её был просительным.

– Хорошо, пойду принесу телефон, – кивнул я, предчувствуя полезность её затеи. Кому понадобилось при действующей розетке прятать аппарат?

Я сходил наверх и нашёл коробку с телефоном, принёс в комнату распаковал, соединил в розетке. Аппарат не звякнул.

Она подняла трубку, стала нажимать, постукивать пальцем по рычажку. На лице было растерянное выражение... Никто не отозвался.

– Положу обратно, – вздохнула грустно.

– Пускай стоит. Красивый телефон.

* * *

Вечером я позвал её в котельную и попросил выбрать себе тахту. Мы сорвали картонную упаковку, и финская тахта нам очень понравилась. Мягкий поролон, обитый серо-зелёной тканью.

– Твою мы отнесём в комнату, а я буду спать в котельной, – сказал я.

– Мне кажется, тут неудобно и негде.

– Раздвину ящики, просто положу на них.

– Я боюсь одна. Ты мог бы лечь в коридоре?

...Условности приходят вместе с цивилизацией...

Мы отнесли тахту в дом-кладовую, как мы его называли, в комнату при складе. Потом принесли другую, поставили в коридоре. Подмели пол взятым на складе веником, убрали подсушенную траву. Она сама взяла в одной кладовке новенькие простыни, шерстяные одеяла, наволочки, подушки – ловко постелила всё это. А я положил на стол у её постели карманный фонарик. На складе их была целая коробка.

– Нам очень попадёт, – грустно улыбнулась она.

– Потом попадёт. Я больше никого не испугаюсь, ничему не удивлюсь.

Мы также устроили мой ночлег в коридоре, не совсем удобном, как любой коридор, но сухом и чистом, с надёжным потолком над головой, с четырьмя стенами вокруг...

Вот оно белое наваждение. Две простыни, подушка, мягкий провал в никуда.

* * *

В руке у меня холодело чудо, никогда не замечаемое прежде мягкое, нежное, в белом тюбике... Содержит биологически активные вещества... хорошо освежает рот и укрепляет дёсны... разработана совместно с НИИ гигиены... улучшенные вкусовые качества. Эти слова я никогда не разглядывал, а тут сложились буквы сами собой... Нашёл чему радоваться? Но я не радовался, нет, я наслаждался. Кто не копил таёжный перегар сухим воспалённым ртом – ничего не поймёт.

* * *

Утром она хлопотала у плитки, заваривая краденый чай. Хлеба на складе не было. Мы ели глазунью с дорожными сухарями.

После завтрака я принёс в комнату самый лёгкий приёмник, поставил на стол, включил в розетку, нажал...

Почему я должен так волноваться? Разве мы не видели приёмников?.. Я веду по шкале алую ниточку, потрескивает эфир, я жду, она стоит рядом, волнуется больше меня, потрескивает эфир...

Ни звука.

Большой диапазон, средний, малый...

Ни звука.

Привычная техника... Мы так привыкли, так машинально двигаем ручки, потом отключаем их, отключаем от себя целый мир, живой беспокойный... Как мы хотели услышать его! Музыку, слово, что-нибудь, на любом языке. Приёмник потрескивал. Из него, казалось, плыла, дышала сама вселенная, сама глубина вселенной, молчаливая на этот раз глубина.

– Ты забыл антенну! Выдвини антенну, – с надеждой подсказала она.

Я выдвинул антенну, опять погнал прямую красную линию по городам и весям.

Ни звука.

Разряды, шорох и ни единого писка, ни единого плеска, ничего.

Я приволок и поставил другой приёмник. Осмотрел его не спеша, внимательно, совсем не торопясь оглядел шкалу, ручки, заднюю панель. Включил, прогревая... не спеша, размеренно, плавно, чётко... По всем диапазонам, по всему свету.

Ни звука.

– Ты что-нибудь понимаешь в них? – усомнилась она.

– Понимаю.

– Бракованные?

– Проверю потом...

На складе я нашёл рацию. На этом лесном складе не могло не быть рации. Нашёл её, поставил на тот же стол, проверил напряжение. По лампочке над столом, по задней панели рации. Потрогал, осмотрел со всех сторон. Включил её на поиск и медленно повёл по входному диапазону, так медленно, боясь проскочить любой самый слабый сигнал.

И снова ни звука.

Подключил микрофон. Ватным голосом, будто никому, в яму, в пустоту, сказал:

– Тут в лесу два человека с погибшего самолёта. В брошенном посёлке с каменным складом. Рация номер 12321. Сто шестьдесят километров к югу от большого озера... Найдите нас... Найдите нас...

Мне казалось, мои слова уходят в пустоту, я говорю лишь коробке приёмника, больше никто не слышит меня, больше никто.

Я снова долго искал в эфире хоть какие-нибудь живые звуки. Потом выключил и стал смотреть паспорта к приёмникам, читать инструкции, радиосхемы. Снова переключал диапазоны приёмника и, к удивлению моему, слышал одно великое молчание.

Приборы, великолепные совершенные приборы отказывались нам помочь. Или я не понимал их? Но какие нужны особые знания для чтения подробных инструкций? Они все выполнимы. Я ничего, по-моему, не упустил, я всё делал как надо.

Эфир молчал. А я слышал, как тикает в ящике стола прибор погибшего японца.

Она положила руку на мою ладонь:

– Скажи мне что-нибудь.

– Я не могу наладить приборы.

– А ты не обманываешь меня? Почему всё тихо?

– Подожди, будет громко.

– Не надо смеяться.

– Но ты понимаешь, мир не может молчать.

– Не понимаю.

– Подожди...

Я вышел из комнаты в одну из кладовок, там, где хранились на полках магнитофоны с телевизорами, лежали коробки с кассетами. На ярких наклейках улыбались артисты. Наугад взял кассету, взял магнитофон самый лёгкий, вернулся в нашу радиокomнату. В открытом окне сидела на подоконнике женщина с мокрыми глазами...

На всю поляну далеко над лесом помчалась невероятная гремучая стремительная песенка «Ах, чтобы лето не кончалось...»⁵.

Мир не может молчать.

Нате вам голос, нате вам звуки. Мир не может молчать! Седые кедры застыли вокруг поляны. Оглушённые птицы, я видел, над крышей взвивались и падали, взвивались и падали, как на волнах.

Она заплакала горько и отрешённо. Я выключил магнитофон и стал утешать её, как умел. И снова я говорил ей, как тогда на воде, несвязно и бестолково... Руки мои были мокрыми от её слёз.

* * *

Бывают, наверное, такие места, где не проходят и глохнут волны. В конце концов, мир молчал тысячи лет, и никто от этого не плакал.

⁵ Песня Аллы Пугачёвой, автор текста Илья Резник.

* * *

Ночью мне, впервые за много дней, снился мой мальчик, ясноглазый, далёкий от меня мальчик. Я гладил его макушку и смотрел, не отрываясь, в неповторимое нежное лицо ребёнка. Холодные губешки слегка прикасались к жёсткой небритой щеке, сердце сжималось от горького блаженства.

– Папа, – звал он меня, – пойдём, я покажу дорогу...

– Не могу выйти отсюда.

– Почему? Пойдём, папа...

– Её не видно, – сказал я, не умея во сне удержать, охватить, обнять самое нежное, самое доброе, что есть на свете, самое-самое...

– Но я вижу дорожку, пойдём...

* * *

Она разбудила меня резко и сразу, возвращая к тягостной тревоге. В темноте я почти видел, как её колотит от слёз.

– Да что с тобой?! – зло крикнул я. – Не смей реветь.

Но крик мой был, наверное, бесполезен. Я испугался. Жутко было в крошечной тьме коридора слышать непонятные судороги слов.

– Можешь ты, в конце концов, нормально говорить? Без этого?.. Пожалей себя, ведь я не врач.

Она плакала:

– Извини... я не смогла...

– Что не смогла?

– Это было...

– Где было?

– Там, наверху.

– Не понимаю тебя... Зажгу свет и принесу воды.

– Я не одета.

– Ну вот какие глупости. Чего тебя сильнее пугает, мрак, свет?

– А тебя ничто не пугает?

– Самое страшное было и не будет.

– Почему?

– Тебе рассказать?

– Если ты можешь... Почему он разбился?

– Я не знаю.

– Война...

– Чушь!

– На свете никого нет. Мы одни...

– Ты бредишь.

– Комары... даже комары передохли.

– Но птицы летают!

– Пока летают...

Я вскочил на ноги. Стукнувшись боком о стенку, нажал выключатель... У тахты на полу – сторбленная, ослеплённая почти не одетая босая женщина.

Ярость овладела мной.

– Покажу тебе комаров-букашек! – орал я, насильно встряхивая и поднимая женщину за руку. – Идём, истеричка, чтоб они тебя заели.

Так я вытащил её босую на жутковатую ночную поляну среди чёрного леса. Беспросветная тишина холодила нас. В руке у меня был её фонарик. Я включил его, надеясь приманить комаров на свет, успокоить взъерошенную, почти голую женщину в тонкой сорочке, и тянул её в черноту, зло ступая в колющую влажную траву.

Наверное, было тепло. Ни звука, ни шелеста, кругом тишина до самых звёзд, ярких и тоскливо холодных.

– Их нет, – всхлипнула женщина. – Их нет.

А я злыми своими пальцами слышал, чувствовал, как бешено стучит её пульс в горячей мягкой руке.

В самом деле, комаров не было. Неистребимых, вечных, надоедливых, невыносимых, неизбывных комаров нигде не было. И вдруг я увидел на прогалинке среди колючей травы одного-единственного чёрного муравьишку. Или мне показалось? Я упал перед ним на колени, увлекая наземь женщину. Кажется, она вскрикнула от боли.

– Смотри, – сказал я, – живой.

– Кто?

– Муравей.

Он воинственно шевелил чёрными усиками, ослеплённый морем света, застигнутый врасплох на лесной дороге, как подозрительный путник среди ночи под фарами патрульной машины. Сердито махнул одним, другим усиком, поднялся на задние лапки, будто ругаясь последними словами, повернул и побежал прочь в густую влажную травяную тень.

– Один-единственный...

– Дура, – сказал я ласково, – спят они по своим квартирам. Спят!

– А как же он?

– Гуляка. Бегал к подружке, а теперь домой. Боится, как бы не попало... Утром покажу тебе армию таких же усатых наглецов. Слышала, как он ругается?

– Пойдём, – сказала она тихо, – не смотри на меня. Выключи свет.

Мы вернулись домой. Она вздрагивала от холода. В открытой двери дома кружилась в потоке света ночная бабочка. Весёлая, живая, мохнатая бабочка.

* * *

Я слышал, как она стонет во сне, и долго не мог уснуть. В ящике стола мерно тикало само Время, наваждение, которое можно было выбросить, грохнуть камнем, разнести в клочья, разбить колуном. И не было никакой силы сотворить это.

Уже под самое утро я, стараясь не шуметь, оделся, выдвинул ящик стола, тихонько выбрался на воздух, прикрыв дверь. На ближней стороне поляны как живые, глядя на меня фарами глаз, отуманенными росой, молча стояли машины, удивительные в своей неподвижности, будто оставленные кем-то на ночь – целое скопище мудрёной техники...

Вот-вот зазвучат утренние сонные хриплые голоса, хлопнут металлические дверцы, гукнут моторы, двинется по луку полчище машин, спеша на дело, на стройку, на...

Никуда.

Никто не двинет нелепое нагромождение техники, никто не войдёт под навес ангара, не смахнёт росу с ветровых стёкол. Один я стою на лесной поляне, вдыхая влажный воздух, смолистый, горький, будто я жевал одну или две хвоинки, сорванные с ветки, жевал до смоляного привкуса на губах, до смоляного холодка в груди.

Под ногами бежали россыпью нахальные, живые, милые муравьишки. Вот они мельтешат, обгоняя друг друга, шевеля усами, приветствуя наступающий день, энергичные, деловые, шустрые, такие разные, какими я никогда не видел муравьёв.

Казалось, они хлопают металлическими дверцами, покашливают хрипловато спросонок и спешат, спешат осмыслить и наполнить прохладный вступающий на поляну свежий день.

Я перешагнул великую муравьиную тропу, чтобы не повредить, не спугнуть, не порушить, и направился к ближнему лесу, в котором ещё синел туман. Я искал дырку, дупло в дереве или выем среди корней, чтобы спрятать мою проклятую чёрную тикалку подальше от неё, от себя, от весёлых живых муравьишек. И нашёл среди ветвей подходящее углубление. Вложил туда мою коробку и вернулся к постройкам.

Под навесом, в хозяйственной клади, я взял ручную пилу и короткую лопату, обыкновенный молоток, в ящике набрал гвоздей, потом выдернул из большого штабеля досок пару тесин и начал мастерить, на удивленье самому себе, что-то вроде мостика.

Сначала отпилил короткие бруски – опоры. Если хотите, быки для мостика. Лопатой выгреб в земле ямки для них, вогнал туда мои деревянные стойки, по две, на расстоянии двух метров от каждой пары. Напилил доски на равные части, положил их на стойки-опоры, начал прибивать гвоздями, слушая, как отзывается утренний лес на мой негромкий стук, словно дятел перестукивает меня в лесу. Я – стук, и он – стук. Не в один миг, а с небольшим промежутком. Тук и тук, мягко утопая в зелёной хвое. Тук и тук.

Из дома вышла ко мне лесная женщина. С припухшими глазами, удивлённая, посмотрела на мою работу. Я стучал, не торопясь объяснить ей причину создания такой деревянной конструкции. Но когда настил совсем был готов, я прошёл по нему из конца в конец, туда и обратно.

– Великий мост на Большой Муравьиной Тропе. Видишь, они бегают, – сказал я. – Никто не будет раздавлен.

В глазах её стояли слёзы. Она встала на колени, я тоже рядом с ней. Мы долго смотрели на весёлое муравьиное чудо, на беготню, суету, на маленький живой настоящий мир.

Потом она подняла взгляд на меня, молча, будто видела первый раз, окинула с головы до сандалий.

– После чая, – сказала, – выстираю бельё, поглажу тебе костюм... Не смей возражать. – Она встала, отряхивая землю с колен. – Это не трудно, машина есть... Они оставили нам всё... до стиральной машины...

Голос её на этом «оставили» дрогнул.

– Помоги мне перетащить машину.

* * *

...Помню, как мама в самые тяжкие дни умела занять себя дома работой. Она стирала, гладила, перешивала что-нибудь, мыла каждый день полы в комнате и на кухне, скребла доски ножом до матовой белизны, до усталости. Носила воду от колонки, свежую ледяную в полных вёдрах, ставила бак на плиту, купала меня в корыте, готовила, кружилась целый день, забываюсь в утешительной горькой занятости. Не помню, чтобы когда-нибудь она жаловалась, одинокая моя, неудачливая, бедная до нищеты мама. Но так получалось, так выходило: если мамини плечи опускались надолго в молчаливой работе, у меня тоскливо холодело внутри от неясного предчувствия горя, от невозможности утешить её, понять, отвести неминуемую взрослую беду, хотя всё вокруг сияло, дышало свежестью. Даже любимец мой, верный как собачонка, пушистый кот, входя в горницу, на белый деревянный пол, всегда почему-то замирал на месте, шевелил усами, вдыхал арбузный аромат свежих досок и отряхивал смешно, как воспитанный человек, идущий в гости, свои мягкие лапы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.